



Карина Демина



ИЗОЛЬДА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
НАША СВЕЛОСТЬ
ЛЕДИ И ВОЙНА. ПЕПЕЛ МОЕГО СЕРДЦА
ЛЕДИ И ВОЙНА. ЦВЕТЫ ИЗ ПЕПЛА

•
НЕВЕСТА

•
ЧЕРНЫЙ ЯНГАР

•
МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ. ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ



РОМАНТИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Карина Демина

Механическое сердце.

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

Фэнтези • Любовный роман • Приключения

Роман

Москва, 2014
 **АРМАДА**
&
«Издательство АЛФА-КНИГА»

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5
Д30

Серия основана в 2011 году
Выпуск 125

Художник
Е. Никольская

Демина К.
Д30 Механическое сердце. Черный принц: Роман. — М.:
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014. — 602 с.: ил. (Ро-
мантическая фантастика).

ISBN 978-5-9922-1817-6

Год прошел.

Близится прилив. Материнская жила переполнилась пламенем. Отсчитывают секунды жизни бомбы, совокупный удар которых уничтожит город. И тогда Стальной король спустит с привязи чуму, что затаилась на борту древнего «Странника». Новая война, способная уничтожить и псов, и людей, вот-вот разразится. Брокк, Кэри, Таннис и Кейрен — лишь пешки в игре двух королей, каждый из которых готов жертвовать фигуры ради победы. Но и пешка способна вести свою игру.

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

ISBN 978-5-9922-1817-6

© Карина Демина, 2014
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014

ГЛАВА 1

Год спустя

В этом месте берег шел вверх, и земляная шкура сползала, обнажая темно-красную гранитную подложку. Камень, распиленный трещинами, выдавался вперед, нависая над самой водой, и дом гляделся естественным его продолжением. Древний, сложенный из гранитных глыбин, он разительно отличался от прочих домов и видом, и самой своей принадлежностью иному миру, в котором, казалось, все еще не знали о детях Камня и Железа.

Дом прятался за высокой оградой из кованого железа, чьи прутья давно и прочно облюбовал плющ. Укрытый от посторонних глаз за одичалым садом, лишенный колонн и портиков, снабженный свинцовыми трубами водостоков, дом был почти уродлив в своей простоте. Пара грубоватых эркеров и нелепый, местами обвалившийся фриз гляделись несуразно, а узкие редкие окна, прорывавшие стены его, казались излишеством. В окна эти свет попадал лишь иногда, другое дело — сквозняки. И женщина в серой пуховой шали привычно куталась, пытаясь согреться.

Она зябла.

Осенью ли, когда черная речная гладь дрожала от ударов капель, а по каменным подоконникам растекались лужи. Весной ли, когда снег таял и крыша привычно потрескивала под тяжестью его. Зимой, пожалуй, тоже, но зимы для женщины пролетали быстро — дни были одинаково черны и холодны.

И женщина пряталась от них в собственной спальне.

Там, среди потемневшего белья, иссохших роз, выбрасывать которые она запрещала, и оплывших свечей женщина чувствовала себя в безопасности. Ее фантазии оживали, а жизнь обретала краски, пусть бы и существовали они лишь в ее воображении.

Женщину считали сумасшедшей, и, пожалуй, она соглашалась, что у тех, кто жил в ее доме, имелись для того все основания. Однако безумие защищало ее.

Кто знает, что бы сделали с ней в ином случае?

Она улыбнулась и провела сухими пальцами по свинцовому переплету.

...тот, кто притворялся ее сыном, предлагал заменить окна. Она отказалась.

Мальчик не понимал, что место это должно оставаться прежним.

И место, и сама Ульне.

В темном толстом стекле отражалась она, тонкая, хрупкая, как одна из ее драгоценных роз. Черты ее лица, некогда мягкие, с возрастом заострились, кожа утратила белизну, обрела оттенок старого пергамента. Платье, сшитое по моде начала века, стало слишком велико, и сколь бы туго горничная ни затягивала шнуровку на корсаже, платье все одно висело.

...тот, кто притворялся ее сыном, покупал ей другие наряды и, принося, раскладывал на кровати, брал ее за руку, уговаривая примерить. Иногда, под настроение, она шла ему навстречу, но роскошные ткани оставляли ее равнодушной. Более того, в принесенных им платьях Ульне ощущала себя странно-беззащитной.

...тот, кто притворялся ее сыном, делал вид, что не замечает, как платья исчезают в сундуках. И приносил новые, тщетно пытаясь угодить.

Порой женщине было жаль его. И она старательно улыбалась, заставляя себя оживать.

Спускалась к завтраку.

И набрасывала на плечи подаренный им меховой палантин. Ей казалось, что ему будет приятно.

Она поддерживала беседу. Читала ему стихи, а он слушал, забывая о своих важных делах, и... его внимание льстило. Ульне начинала думать, что, быть может, не так и плохо, что в доме поселился именно он.

Освальд считал стихи пустой тратой времени.

...а ее называл глупой старухой, хотя тогда она не была столь уж стара.

Странные мысли. Осенние.

— Ульне, отойди от окна, — сварливо сказала вторая женщина, которая благоразумно держалась у камина.

— Я смотрю.

— Ты всегда смотришь, — с неодобрением произнесла женщина, вытаскивая из рукава овсяное печенье. Она была крупнотела, полна той уютной полнотой, которая не вызывает мыслей об излишествах. — Но ничего не видишь. Даже того, что у тебя

под носом творится. А я говорю, что это добром не закончится. Ты должна выставить их из дома...

Этот разговор Марта заводила не раз и не два, пожалуй, она уже сама не верила в свои слова.

Выставить?

Как?

Марта ведь не глупа, пусть и пытается таковой казаться. Она сильно пудрит лицо и носит шиньон, скрывая, что волосы ее поредели. Марта, в отличие от Ульне, не стесняется его подарков, а он, тот, кто притворяется сыном, щедр. В этом видится попытка откупиться, и Марта принимает выкуп.

Пускай.

Марте по вкусу розовые, щедро расшитые бисером и серебряной нитью платья. Она вычитала, что розовый освежает цвет лица, а Марта, конечно, не старуха, но и не столь безразлична к своей внешности, как ее подруга... а ведь и вправду подруга, единственный человек, который знает Ульне едва ли не лучше самой Ульне.

И зачем она притворяется?

Ульне со вздохом отступила и спрятала озябшие руки в складках шали... откуда она взялась? Из сундука. В сундуках ее дома хранятся самые разные вещи. Вчера вот она нашла фарфоровую куклу с истершимся лицом. И медведя, набитого гречневой лузгой. В медвежьей шкуре моль проела дыру, и лузга высыпалась. Это обстоятельство привело Ульне в печаль, и она расплакалась прямо там, в коридоре, который казался пустым. Но тот, кто притворялся сыном, услышал.

И вышел.

Присел рядом.

Забрал медведя, пообещав:

— Я почию его.

А Ульне хотела сказать, что не стоит. Кому нужны старые игрушки?

— Не плачь. — Он опустил на колени и прижал ее ладони к горячим своим щекам. — Не плачь, мама, пожалуйста.

Он сидел долго, пока слезы не закончились. А после поднялся и поднял ее.

— Я принесу тебе розы.

— Белые?

— Белые.

...букет стоял в ее комнате, и розы, лишённые воды, тихо таяли. Скоро жизнь из них уйдет, и тогда она осторожно, опасаясь пораниться о сухие шипы, снимет венчики цветов.

Иллюзию безумия следовало поддерживать.

И часть лепестков она бросит на туалетный столик. Быть может, поддавшись желанию, смахнет паутину, скользнет пальцами по пыльной поверхности и отвернется, чтобы не встречаться взглядом со своим отражением. Она сядет в кресло у погасшего камина и будет смотреть в черное жерло, на закопченную решетку, на белый шлейф фаты, забытой на каминной полке.

На комплект из сапфиров и топазов...

...его принес тот, кто притворился сыном Ульне. И встав на колени, сказал:

— Прости меня, пожалуйста.

А Ульне коснулась жестких его волос...

— Ты не Освальд.

...он уже две недели как ушел из дому, забрав с собой не только комплект. Он сказал, что устал от нищеты и долга, который на него навесили. Что задыхается в этом доме и не собирается позволять старухам лишать себя радостей жизни...

...Тедди пообещал присмотреть. Не стоило верить его словам.

...дурная кровь.

И тот день Ульне провела *внизу*. И следующий тоже, и еще много дней, пока не появился Тедди и с ним тот, кто притворился ее сыном.

— Я не Освальд. — Он смотрел снизу вверх, и в светлых его глазах Ульне видела жалость. — Но я стану им. Я постараюсь.

Тогда еще Ульне могла бы выставить его.

...ушел бы...

...или убил бы?

Тедди держался за его спиной, скалясь, и Ульне подумалось, что единственный близкий ей человек, не считая Освальда, отворачиваясь улыбается. Сказать бы... ей не хотелось обижать Тедди, который и без того помогал часто. Он же впервые обратился с просьбой.

— Присмотри за мальчиком, Ульне. — Тедди потянул за светлый локон, выпадая из обычного своего полусонного состояния, каковое, сколь знала Ульне, было лишь маской. — Мне кажется, вы понравитесь друг другу.

И все-таки... если бы Ульне отказала, что было бы?

Она не знала ответа. Ему был нужен ее дом и имя последнего из рода Шеффолк. Белая гербовая роза. И родовое древо, ныне захиревшее. Что ж, пусть предки проклянут Ульне, но она отступила. Ответила Тедди легким кивком и коснулась жестких

волос чужака, заглянула в глаза и глядела долго... до сих пор не нагляделась.

— Здравствуй, сынок, — сказала она, убрав длинную прядь с его лба. — Я рада, что ты одумался...

— Спасибо... мама.

Он коснулся губами ее руки, осторожно, точно опасаясь раздавить хрупкую ее ладонь. И пальцы разглядывал долго. А еще дольше осматривался в доме...

Ульне же видела родовое гнездо его глазами. Побуревший паркет. Гнилые гобелены, сквозь дыры в которых бесстыдно проступал камень стен. Истлевшие ковры. Каминны, что не разжигались многие года. Потускневшая роскошь гербовых щитов.

И Марта, тогда худая, с запавшими темными глазами, шипела:

— Что ты делаешь? Он ведь самозванец...

— Нет. — Ульне знала, что поступила правильно.

Освальд не вернется... гнилая кровь, дурная, неспособная понять истинное предназначение рода Шеффолков.

И глядя на того, кто стал ее сыном, Ульне улыбалась.

Безумным прощают улыбки без повода.

— Мама, тебе не холодно? — Он всегда появлялся неожиданно, и было время, когда звук этого голоса заставлял Ульне замечать.

Так похож... Стройный, светлый, с синими прозрачными глазами.

Чужой.

— Холодно, — покорно согласилась Ульне, и он, положив руки на плечи — острые, хрупкие, — произнес:

— Идем к камину. Марта...

— А что я? Я говорила ей, чтоб перестала торчать у окна. Разве ж послушает? — В ворчании Марты не было злобы, оно — привычное, надоедливое слегка, и его, того, кто притворяется сыном Ульне, Марта не ненавидит. Напротив, втайне она боится, что однажды он исчезнет.

Бросит дом, который ожил за последние годы.

И Ульне с ее безумием и пустой комнатой, где обретались призраки прошлого.

...дорожку из иссохших розовых лепестков, что ведет через всю комнату к шкафу...

...и дальше, *вниз*.

А в подземелье ныне холодно... но надо бы проведать, рассказать *ему* новости...

Ульне бросила осторожный взгляд на того, кто стал ее сыном. Совсем вырос... и ждать уже недолго.

Спицы Марты ненадолго замерли, прежде чем подцепить ускользнувшую было петлю. Жесткая шерстяная нить царапнула пальцы едва не до крови.

Командует.

И смотрит недружелюбно, точно подозревая в чем-то. Пускай, в мысли-то он не заглянет. Конечно нет. Обыкновенный человек... пусть и глаза мертвые, а Ульне не видит. И сама-то жива едва-едва, а может, и умерла, еще тогда, на свадьбе? Бывает же, что мертвые притворяются живыми?

Петля за петлей.

Безумная Марта вяжет шарф... у нее такое множество шарфов: последние годы ей полюбилось рукодельничать, а ведь Марта помнит те времена, когда в роскошной столовой на ужин подавали вареную чечевицу. Ей это было непонятно — тяжесть фамильного серебра и чечевица.

Изумрудные серьги, принадлежавшие последней королеве, и погасшие каминны.

Старые соболя...

...пыль на лестницах.

Пустые слова о семейной чести и голод, от которого не получалось избавиться. Марта занимала себя рукоделием, пытаясь отделаться от мысли, что, если продать хотя бы один канделябр, серебряный, отлитый многие сотни лет тому, голод отступит...

Освальд и продал.

...нет, он был хорошим мальчиком, славным. Заигрался несколько, оно и понятно, какой человек выдержит холод Шеффолк-холла? Ему жить хотелось, а денег не было, только честь семейная, которой сыт не будешь. Да, взял он из материной шкатулки брошь с рубинами. Или те самые серьги на золотой проволоке... браслет с аметистами, Марта помнила темно-лиловые тусклые кабошоны.

Он любил играть, ее Освальд, и верил, что однажды ему повезет. А если и нет, то... к чему цепляться за прошлое? Надо продать камни и металл, за который предлагают хорошую цену. Антиквариат ныне дорог... и сам этот дом, если същется безумец, согласный купить его.

Щиты.

И доспехи герцога Шеффолка. К чему им ржаветь? Так он говорил, называя Марту толстущечкой и, выиграв, покупал ей в лавке сахарных петушков. Ульне поджимала губы.

Никогда-то сына не любила, держалась в стороне, с холодком, вот он и пошел в разгул, искал тепла... нет, Марта, конечно,

понимала, что Освальд не без недостатков. Так, а кто святой? Этот, что ли? Его Марта, к преогромному своему стыду, боялась. О нет, за прошедшие годы она не услышала от него ни одного дурного слова, да и с прочими обитателями дома он разговаривал вежливо, мягко, но вот глаза... пустые. Нечеловеческие. И появлявшаяся при взгляде на Ульне нежность была столь противоестественна, что пугало едва ли не больше обычного равнодушия.

А ведь он чувствует ее страх.

Ему нравится.

Оттого и появляется он вот так, бесшумно возникая словно бы из ниоткуда. Тень из теней старого дома... призрак во плоти. Летом он скрывался от солнца, и Марта знала, что из-за кожи — рыхлая, неестественной белизны, та плохо переносила солнечный свет. Его прикосновения оставляли красные следы и волдыри, которые Освальд — скрепя сердце Марта вынуждена была называть чужака именно так, а после как-то вот привыкла, — смазывал свинцовой мазью. От него ею пахло постоянно, и еще, пожалуй, мятой, которой он пытался перебить иные, неподобающие человеку высокого положения запахи.

...тлена.

...сырой земли.

...крови, старой, загустевшей, какая бывает на скотобойне к концу дня. Оказываясь рядом с ним, Марта невольно вспоминала свое детство и отца, что возвращался домой, пропахший кровью. И содрогалась, прятала и страх, и отвращение за нервной улыбкой. Смиряла дрожь в голосе.

И заедала ужас овсяным печеньем.

...вязала, плела шарфы, нить к нити, выводя рисунок, которого никто не видел. Благо чужак не жалел денег не только на дом, но и на них с Ульне. И порой Марта думала, что, должно быть, две безумные старухи придают дому особый шарм.

Как-то она сказала об этом Ульне, и та лишь пожала плечами, бросив:

— Быть может...

Главное, чтобы после смерти Ульне он не выставил Марту. Ей некуда идти. Вся ее жизнь прошла в этих стенах, и Марта знает каждую трещину, каждый шрам на огромном каменном теле Шеффолк-холла... а он знает о ее знании.

— Дорогая тетушка, — в голосе Освальда прорезалась насмешка, — вам стоит прислушаться к словам доктора. Вы слишком увлеклись печеньем...

Марта обняла подругу, и та слегка отстранилась.

А ведь ей нравится чужак.

Да и то, собственного сына любить сил не хватило. Заботилась сколь могла. Смотрела с высоты, с обычным своим презрением, выискивая в его лице отцовские черты, заставляя стыдиться собственного несовершенства.

До слез доводила.

И злилась, когда мальчик, всхлипывая, искал утешения в юбках Марты. А что она? Она просто любила как умела, без красивых слов и высоких помыслов. Носила тайком в холодную комнату герцога, слишком большую для ребенка, молоко и сыроватый хлеб, покупала, когда случалось выходить из дому, все тех же петушков на палочке, сказки рассказывала... нормальные сказки, а не...

А Ульне радовалась, когда Освальд исчез, прихватив семейные реликвии, будто и вправду подтверждение получила, что кровь его — гнилая. Оттого и вычеркнула из сердца, оттого и приняла чужака, оттого и запирается в собственной спальне, преклоняет сухие колени перед распятием. О чем просит Бога?

О милости к тому, кто мертв?

Или об удаче для живого?

Марту порой подмывало спросить, но она прикусывала язык. Дом тоже принял чужака и, как знать, не донесет ли ему о неосторожных словах... странно все.

Смутно.

И сейчас Освальд не торопится уходить. Держит Ульне за руку, усаживает в кресло, а на колени набрасывает соболиное покрывало... тридцать седьмой герцог Шеффолк любит и балует матушку. И, склонившись к исхудавшим ее рукам, целует пальцы. Просит.

— Расскажи...

— О чем, дорогой? — Она оживает, пусть и ненадолго.

А Марта отворачивается, вытаскивает из корзинки для рукоделия нитки.

— О том времени, когда Шеффолки были королями...

В корзинке клубки перепутались. Толстая шерсть, окрашенная в синий или вот в лиловый... лиловый и серый неплохо смотрятся, но серый — цвет пыли, а Марта ненавидит пыль.

— Давным-давно... — Ульне улыбается собственным мыслям, а Освальд подвигает скамеечку. Он присаживается у ног старухи, настолько близко, что Марте в этом видится нечто непристойное, как и в ласковом ее прикосновении к светлым волосам.

Чужак ведь.

И опасный... а она как к родному.

Ближе, чем к родному... родного презирала, этого же приняла.

Клубок выскальзывает, катится к креслу и замирает, оставленный его ногой.

— Давным-давно, когда в мире не было ни псов, ни альвов, он принадлежал людям. — Ульне рассказывала эту историю десятки раз, и Освальд наверняка выучил каждое слово, но он вновь слушает. Улыбается. Веки смежил, голову запрокинул, пристроив на колени Ульне.

И снова она нацепила тряпье.

Некогда платье было нарядным — стеганный шелк, расширенный мелким речным жемчугом и золотой нитью. Но прошедшие годы истончили ткань, жемчуг срезали, пытаясь продлить жизнь Шеффолк-холла, а золото потускнело. И ныне платье гляделось древним, истлевшим саваном.

...подходящее одеяние для мертвеца, пусть бы мертвец и дышит, ходит, разговаривает. Голос у Ульне сильный, шелестящий и порой столь тих, что слова приходится угадывать.

Марта вытащила другой клубок, зеленый.

Зеленый и лиловый не сочетались, но... какая разница? Кому нужны ее шарфы, которые Марта, довязав, складывает в старый шкаф. На полках его уже скопились десятки, если не сотни вязаных змей-расцветок самых удивительных. И если подумать, то и в этом есть свое безумие, несколько иное, чем у Ульне, но все ж...

— ...и стал он первым среди равных, сильнейшим среди сильных, приняв имя Освальда Первого. На голову его возложили корону о семи зубцах по числу земель, отошедших под руку его. Ее украсили шесть алмазов, совершенных по чистоте и огранке, но седьмой, прозванный Черным принцем, появился позже. И принес с собой беду, — завершила рассказ Ульне. Пальцы ее перебирали светлые пряди, и Освальд будто бы дремал.

Ложь.

Марта ощущала на себе пристальный взгляд.

Оценивает. Не доверяет... и держит лишь потому, что Ульне привыкла к Марте, другую компаньонку она не примет. А Ульне он, кажется, любит.

— Расскажи, — не открывая глаз, вновь просит Освальд.

И улыбается.

— О чем?

— О Черном принце... что с ним стало?

— Исчез вместе с короной. — Ульне убирает руку, и Освальд нехотя открывает глаза. Он еще не сердится, не на Ульне, но

Марта поспешно берется за спицы. Ей со спицами спокойней. Иногда она представляет, как убивает чужака.

Спицей.

— Псы появились с Севера. — Ульне рассказывает, любуясь тем, кого приняла за сына. О нет, она вовсе не так безумна, какой хочет казаться. Марта изучила ее распректрасно, и эти истории, рассказанные осипшим, будто сорванным голосом, — часть маски.

...и розы, которые умирают без воды, медленно теряя зелень листьев. Лепестки становятся хрупкими, пергаментными.

...и затянутае пылью зеркало.

...и свадебное платье, так и оставшееся на манекене.

— Их согнал с места холод. Говорят, что наступала Великая зима. И море, кормившее псов, оскудело. Ушла рыба и черные киты, а по следам волн появился лед. Он ложился на воду, сковывая ее непробиваемым панцирем, стлал дорогу вьюгам и морозу. Говорят, что дыхание Великой зимы замораживало птиц на лету. И огненная жила, сердце их мира, почти погасла.

Ульне рассказывала эти сказки Освальду, еще тому. Марта помнит его. Болезненный, по-девичьи изящный ребенок. Он вечно простывал, и кутался в связанные ею шарфы, в дряхлые шубы Ульне, и мерз, садился вплотную к камину, прося сказку.

Ульне знала множество историй.

Некоторые сошли бы и за сказку.

Кого она видит сейчас? Уж не того ли мальчика, который часто засыпал, не дослушав до конца. И ночью просыпался с плачем, с воем, жалуясь, что снятся ему черные корабли псов.

Марта жалела.

Брала в постель, благо, та была огромна. А Ульне, узнав, отхлестала по щекам, не Марту — мальчишку. Он должен быть сильным, так сказала она...

...последний король.

Не король — принц. И всего-навсего — герцог.

— Говорят, Вилгрим спустился к гаснущей жиле, и та подарила искру. Он вез ее на груди, и если бы искра погасла...

Ульне замолкала. Почему-то она всегда оставляла эту фразу оборванной, словно опасаясь, что даже здесь, в ее собственном доме, найдется кто-то, кто подслушает.

Донесет.

Даст повод оборвать старую гнилую ветвь.

Марта накидывала петлю за петлей, позволяя работе увлечь себя. История, что история... не перепишешь.

— Бергард Третий позволил псам подняться по реке. И Вилгрим говорил с королем, обещая вечный мир и дружбу, он же поднес в подарок алмаз невиданной чистоты. Камень квадратной огранки имел удивительный окрас, темно-лиловый, дымчатый, вовсе не свойственный алмазам. Он был огромен, с кулак младенца, и прекрасен. И говорят, именно этот камень очаровал Короля, заставив слушать псов. Бергард Добрый подарил им Каменный дол, рассчитывая, что псы будут служить Королю и людям.

Голос все-таки дрогнул, выдавая гнев, вновь не понятный Марте. Сколько лет прошло? Сотни, а Ульне все еще сердится на предка за ошибку.

И втайне мечтает исправить ее.

Пустое.

Нет, Марта давненько не выглядывала за пределы Шеффолк-холла, но она не столь глупа, чтобы надеяться, что псы однажды исчезнут, вернув людям город... она, Марта, не слышит голоса крови, она, Марта, склонна считать, что этот самый голос, на который ссылается Ульне, вовсе выдумка, напрочь смысла лишённая.

— Каменный дол был пустошью, — Ульне нежно улыбалась чужаку, и тот сидел, взяв ее за руку, прижав эту руку к щеке, — скалы, и ничего кроме скал, но Вилгрим сам попросил эти земли. Он знал, что делал. Спустившись в расщелину, Вилгрим разбил сосуд. Говорят, что новорожденная жила была слаба, что хватило бы малости, чтобы убить ее...

Тонкие губы дрогнули.

— Псы поили ее собственной кровью...

— И выпоили, — слово слетело с языка Марты прежде, чем она успела язык прикусить. Но вольность эта осталась незамеченной.

— Так возник Каменный лог, а Вилгрим остался при нем... говорят, он до сих пор жив, но псы позабыли его имя. Зовут Привратником.

Псы забыли.

Люди помнят. И эта память здорово мешает им жить. Не будь ее, иначе сложилась бы судьба Ульне, и собственная Марты жизнь, глядишь, не была бы столь пустой.

Одинокой.

И спицы в руках не навевали бы мыслей об убийстве.

А он учуял, повернулся к Марте и оскалился, предупреждая. Ничего, она не боится. И взглядом отвечает на взгляд, только

нитка шерстяная колет пальцы, и спицы вяжут, вывязывают узор.

Всегда один и тот же.

— Бергарду псы еще служили. И сыну его. И внуку... Но наступил миг, когда они поняли, что силой превосходят людей. И Гуннар из дома Синеи Стали объявил войну. Она была короткой.

Металл касается металла, нить дрожит, клубки вздрагивают, спеша скрыться в складках юбки. Платье роскошное, чужак подарил. Он часто делает подарки. И Марта берет. Платья, вее-ра, расписные шали, платки и печенье, вазы с которым стоят по всему дому. Ей стыдно за свою слабость, но она — не правнучка последнего Короля.

Компаньонка.

И дочь мясника, который когда-то, быть может, и был благородных кровей, но давным-давно позабыл об этом. Ей непонятна беззубая эта гордость.

— Освальд Четвертый собрал огромное войско. Сотни рыцарей откликнулись на его призыв. И солнце сияло на доспехах. Гордо шли шейвудские стрелки, несли на плечах длинные луки из тиса, и колчаны их были полны стрел. Вздymались к небесам острия копий, и копейщики украшали шляпы белыми гусиными перьями. Волокли баллисты и онагры, черные тараны с коваными бараньими головами... никто не сомневался, что Каменный лог падет. Псов ведь было немного.

Пламя метнулось, расплескав по экрану тени, и Ульне замолчала.

— Продолжай, мама. — Освальд провел пальцами по сухой ее ладони, стирая прах иссохших лепестков.

— Они позволили людям войти, — Ульне поворачивается к Марте, и в пустых глазах вспыхивает гнев, — и спустили с привязи жилу. Говорят, что она прорвалась кольцом, отрезая путь к бегству. И камень расплавился под ногами, а сталь закипела. Люди горели заживо, смертью своей питая жилу. Чем больше она брала, тем сильнее становилась...

Беззвучный вздох, и пальцы касаются губ. Бессильный, раздражающий притворством жест. И Марта склоняется над вязанием.

— Королева напрасно ждала мужа и сыновей. Никто не вернулся из Каменного лога. А к городу подступили псы. Гуннар из дома Синеи Стали пожелал говорить с ней, и она согласилась. Он же сказал, что изрядно крови пролилось и ни к чему множить горе. Псы войдут в город рано или поздно. Разве остано-

вит их ров? Или вал? Или стены, лишившиеся защитников? Или, быть может, женщины, которые не ждали этой войны? Так он спросил. И она согласилась.

Сама Ульне предпочла бы умереть.

Она и умирала, день за днем, год за годом, давая гордыне взять верх над разумом.

Пустое.

Марте не понять их, а им не понять Марты.

— Ей предложили добровольно отречься от престола, пообещав титул герцогини, земли и жизнь сына... Она согласилась.

Ульне наклонилась к чужаку. А ведь они похожи, пусть разной крови, но разве скажешь это? Оба тонкокостные, болезненно-бледные, но все же полные скрытой дикой силы, которая прорывается в глазах. И оттого их тянет друг к другу...

— Она вышла к народу и преклонила колени перед Гуннаром. Отдала ему пурпурный плащ, подбитый соболями, и цепь регента...

— А корону?

— Корона исчезла. — Ульне обернулась к Марте, и та почувствовала себя лишней. Она замерла, схватившись за спицы, понимая, что они — единственное ее оружие, пусть и смешное. — Говорят... король взял ее с собой.

— Говорят? — Освальд приподнял бровь.

И Ульне, скрывая усмешку в уголках губ, подтвердила:

— Говорят.

ГЛАВА 2

Массивная туша дирижабля дрогнула и сползла со ступеней. Лишившись опоры, она покачнулась, и в какой-то момент Брокк испугался, что корабль ляжет, но опасения его были беспочвенны.

«Янтарная леди» медленно, нехотя, но набирала высоту.

Вот лениво повернулись лопасти хвостового винта. Вспыхнули узоры энергетических контуров. Загудел, расправляясь, каркас, прогнулся под тяжестью гондолы, но выдержал.

Получилось.

И Брокк разжал кулаки. Сердце колотилось безумно, да и не только у него. Он обернулся, услышав за спиной облегченный вздох. Первый пилот, бледный как полотно, вцепился в руль высоты. По виску его сползала капля пота, а темная жила по-

драгивала. Второй держался лучше. Впрочем, и ему конструкция виделась ненадежной. После дракона дирижабль кажется массивным, неподъемным и в то же время невероятно хрупким.

Люди думают о баллонах, заполненных блаугазом, о том, сколь тонка их оболочка, сделанная из газонепроницаемой ткани. И что килевая ферма, позволяющая сохранить форму, не способна защитить от пробойны. Они знают о том, что утечка из всех отсеков на борту маловероятна, а заполнение резервных даст цепелину возможность продолжить полет, что даже при потере трети объема несущего газа «Янтарная леди» удержится в воздухе... и что в случае аварии опускаться на землю она будет медленно.

Люди смотрят на Брокка едва ли не с ненавистью.

Он создал драконов, а теперь и это...

— Давай выше. — Мастер, оттеснив пилота, сам сел за штурвал.

Красное дерево и теплота слоновой кости. Бронза и медь приборной панели. Выотомер отсчитывает футы. За стеклом — синева, и Брокка тянет распахнуть окно, выпуская на мостик холодный горный воздух. Его пьянит ощущение полета, собственного всеилия — ведь получилось же...

Курс проложен.

И в Найкэме их ждут.

— Запускай, — скомандовал Брокк, и спустя мгновение глухо заворчали моторы.

Все будет хорошо.

Это ведь не первый полет «Янтарной леди», она уже поднималась в воздух, зависая над полигоном, описывая круги, подбираясь к самым облакам и выше облаков. И зимнее солнце согревало серебристую ее шкуру. Она ходила по ветру и против ветра, проламывая загустевший вязкий воздух. Она возвращалась, чтобы стать на причал у стыковой мачты. По ней же, теряя давление в баллонах, спускалась в уютное ложе дока.

Терпеливая.

Меняющаяся раз от раза. И с каждым днем — все более совершенная.

«Янтарная леди» ждала своего часа. И дождалась. А значит, дойдет.

— Позвольте, мастер? — Первый пилот окончательно совладал с волнением, и Брокк уступил ему штурвал, но мостик не покинул.

Синева.

Впереди, отделенная тонким стеклом, обрамленная сталь-

ными полосами рам. Лоскутное одеяло земли где-то далеко внизу. Ощущение свободы, пусть и не такой, которую дарили крылья дракона.

...Пассажирская гондола на двести мест. Два грузовых отсека, для малых и крупных грузов. Сердце-кристалл и пара моторов, собранных по проекту Инголфа, который был не особо рад оказать помощь, хотя втайне и гордился, полагая, что без его моторов «Янтарная леди» не сдвинулась бы с места.

Потолок в пятнадцать тысяч футов.

И дальность — сотни лиг.

Близкое небо для многих.

— Приближаемся, — подал голос первый пилот и замолчал, больше не отвлекаясь на Брокка, словно позабыв и о собственном страхе, и о присутствии на мостике посторонних.

Мастер не считал себя совсем уж посторонним. Он наблюдал за людьми и слушал корабль.

«Янтарная леди» пела.

Скрипела обшивка, гудели, расправляясь, газовые баллоны. И рокочущие, воняющие селитрой моторы Инголфа работали ровно, подгоняя тяжелую тушу корабля. Со стороны, должно быть, величественное зрелище — сигара серебристого окраса, разрисованная золотом энергетических контуров. Тень ее медленно наползала на городские предместья, и сам воздух, казалось, скрипел, тянулся, удерживая тушу корабля.

Скоро уже.

Виднеется тонкий шпиль стыковочной мачты. И «Янтарная леди» медленно заходит с подветренной стороны. Брокк уже видел это. Черную пуповину каната, которая разворачивается, зависая в воздухе. Людей, что сбегаются к ней, облепляют, пытаются удержать. И, связав два гайдроба воедино, спешат отойти. Тонко взвизгивает паровая лебедка, натягивая струну каната. Дирижабль подползает к мачте.

Столкновение.

И скрежет. Привычный страх, что корпус все-таки не выдержит. Облегчение. И мерные щелчки замков. Замолкают работавшие вхолостую двигатели. Воцарившаяся тишина бьет по нервам. И пилот, поднимаясь с места, нарушает ее:

— Причалили. Сейчас спустят, и... получилось.

Теперь он улыбается, пусть бы и изо всех сил старается сохранить серьезность, напоминая себе, что этот полет — первый из многих и ничего-то в нем нет особенного.

Не выходит.

Он одергивает белый китель. И второй пилот ждет разрешения.

Брокк же, проведя ладонью по приборной панели, прощаясь с кораблем — и это его создание уйдет, — разрешает:

— На высадку.

Спуск по тонкой металлической лестнице, вмонтированной в тело мачты, довольно-таки неудобен. Позже здесь поставят подъемник и кабину для пассажиров, но сегодня и так сойдет.

Холодный ветер толкнул в плечо, развернул белый стяг шарфа. И Брокк кое-как затолкал его под куртку. Остановился, окинул глазами толпу. Людей собралось... и красную дорожку расстелили по грязи. И оркестр виднелся, сиял золотом труб. Раскрылись над головами дам разноцветные зонтики, покачивались на ветру, кренились цветами на осеннем поле.

Взгляд зацепился за светлое пятно.

Кэри, его янтарная девочка.

Леди.

И стоит чуть в стороне. Наверняка хмурится, пытается скрыть волнение. Ей не хотелось отпускать Брокка.

Опасно ведь.

А он не мог иначе. Кому как не Брокку быть первым пассажиром «Янтарной леди»? И первым же ступить на изрытую дождями землю. Под ногами хлопнуло, на красной дорожке проступили пятна влаги, а парочка репортеров, изрядно околевавших, одетых слишком легко для осени, спешно замахала руками, требуя остановиться.

— Мастер, нужно сделать дагеротип! — заговорил тот, что повыше. Этот был в пальто, по-позерски расстегнутом. Впалые щеки его покраснели, а голос сделался подозрительно сирым.

— Наши читатели желают знать, — его поддержал коллега, он вырядился в кожанку, причем не лучшего качества, и теперь то и дело ежился.

От ветра кожа не спасала. И поднятый воротник был слабой преградой.

— Будьте добры стать вот сюда...

— ...много времени не займет...

— ...и команда, естественно...

— ...покорители воздуха...

Они говорили то вразнобой, то вместе, и неприметный тип в меховом тулупе колдовал над аппаратом, вздыхая, что свет слабый и это скажется на контрасте. Он поджигал магнезию, и вспышка ослепляла всех. От улыбки сводило лицевые мышцы, и люди чувствовали себя неудобно, но...

...нельзя иначе.

О «Янтарной леди» должны узнать, пусть как о диковинке, но реальной, способной изменить мир. Небо будет открыто для всех...

И Брокк говорил. О небе. О том, что воздушный корабль совершенно безопасен, что путешествие на нем будет быстрым и куда более комфортным, нежели на дилижансе, что вскоре все города Королевства свяжет воздушная дорога и...

Он сам охрип, и голос то и дело срывался.

И когда репортеры наконец отпустили, грянул оркестр. Замерзшие музыканты старались играть громко, шумом скрадывающая разноголосицу. Но Брокк уже не обращал внимания ни на холод, ни на оркестр, ни на оцепление, которое рассасывалось, пропуская любопытных на поле. Он спешил туда, где с букетом цикламенов ждала его янтарная леди...

Не сорваться на бег.

Удержаться. Преодолеть неподобающее желание обнять ее.

Поцеловать.

Подобной вольности не простят, да и... граница установлена, устоялась. К чему нарушать ее?

— Мастер, — она шла навстречу, нимало не заботясь о том, что вновь бросает вызов обществу, — я так соскучилась по вам, мастер...

Не цикламены — лаванда.

Шляпка-таблетка. Вуаль, которая обрывается у линии губ. И черная мушка на сетке. Мягкий подбородок. И золотистый шелк шарфа складками. Аккуратный воротничок жакета полувойенной формы. Узкие перчатки единственным темным пятном. Лэрдис из рода Титанидов сияла золотом.

...янтарем.

— Я подумала, что, быть может, ты не станешь возражать против этой встречи. — Она протягивает лаванду, которую Брокк берет машинально.

И отступает.

— Ты изменился. — Лэрдис улыбается. Она не делает попытки остановить его, но поворачивается, берет под руку, и снова он теряется, не зная, как себя вести. — По-прежнему слишком хорошо воспитан...

В ее ушах — янтарные серьги. И жакет отделан солнечным камнем.

— Прости, но мне не кажется, что это прилично.

— Тебя все еще волнуют приличия? — Лэрдис смеется и, обернувшись, машет репортерам рукой.

...что о ней подумают?

И о нем?

Чего ради? Скандала, который неизбежен? Славы?

Прихоти?

Спросить? Но не ответит, засмеется только. Глупо как получилось... и ведь подумают, конечно, подумают. Вспомнят тот давний неудачный роман, переврут, перепишут наново, смешав выдумку с правдой. Щедро приправят домыслами.

— Прости, — Брокк убрал ее руку со своей, — но меня ждет жена.

Лэрдис не услышала. Она вновь оглянулась, остановив взгляд на дирижабле.

— Красивое название... как ты догадался, что я люблю янтарь?

Кэри хотелось убить мужа.

И эту отвратительную женщину, которая держалась так, словно бы Брокк был ее собственностью. А он, кажется, не имел ничего против.

Улыбался.

Говорил что-то...

И она смеялась, запрокидывая голову, и шелковый шарф сползал, обнажая белую мягкую шею.

Противно.

— Лэрдис вновь взялась за старое, — раздалось над ухом, и Кэри обернулась.

Военный.

Из высших. Немолод, но и не сказать, чтобы стар. Статен. Широкоплеч. И по-своему привлекателен. Черты лица прямые, резковатые, но в целом приятные. Светлые, наполовину седые волосы собраны в хвост. Но это — единственная вольность, которую он себе позволил.

— Мы с вами не были представлены друг другу. — Военный поклонился: — Хальгрим из рода Черного Титана.

— Кэри.

Кем ему приходится Лэрдис? И Хальгрим ответил, пусть бы Кэри и не задала этот вопрос вслух:

— Кузина. И жена.

Жена? Женщина, которая, презрев все писанные и неписанные правила, ступила на красную дорожку? И на глазах у всех обняла Брокка? Буквально повисла на нем?

— И вы...

— Боюсь, отчасти виноват в том, что Лэрдис такая. — Военный подал руку. — Здесь очень ветрено. Вы позволите?

Кэри бросила взгляд на мужа, который, склонившись к Лэрдис, что-то ей говорил. Позволит. Иначе она сделает что-то, за что будет стыдно.

Разревется, к примеру.

Или вцепится этой твари в волосы.

Какое недостойное леди желание, но главное, что выполнимое... Она заставила себя выдохнуть. И приняла руку Хальгрима. В конце концов, ее собственный муж настолько занят, что, вероятно, и вовсе не заметит отсутствия Кэри.

Ушла она недалеко, к разноцветным палаткам, разбитым прямо на поле. И ветер скользил по матерчатым крышам, пробовал на прочность стены. Палатки вздрагивали, натягивали до предела веревки, словно собираясь взлететь. Но колышки, вбитые в землю, удерживали их на привязи.

— Вы ведь не откажетесь от горячего шоколада? — Хальгрим позволил себе коснуться края шляпки. — Полагаю, вы замерзли не меньше моего.

— Не откажусь.

И да, замерзла. День был зимним, стылым. И ветер метался по полю, скользил под ногами белой поземкой, а к полудню вышло солнце, но теплее не стало.

...а ведь до зимы еще почти месяц.

— Прошу вас. — Хальгрим подал высокий стакан, обернутый мягкой тканью. — Насколько я знаю, шоколад обладает удивительным свойством поднимать женщинам настроение.

— Зачем вы...

— Чувствую свою вину.

— Передо мной?

— Перед вами, перед вашим мужем, который, сколь мне известно, вовсе не глуп. Однажды он уже обжегся, и этого, полагаю, хватило...

...о да, хватило, ровно настолько, чтобы держаться подальше от Кэри, хотя она-то ничего ему не сделала! Брокк же упорно не позволял ей приблизиться, но стоило появиться Лэрдис, и...

Кэри раздраженно глотнула шоколад и закашлялась, до того горячим был напиток.

— Осторожней. — Хальгрим подал платок. — Не спешите. А Лэрдис... не всегда была такой.

— Зачем она... — Кажется, сегодня день недоговоренностей, но Кэри очень сложно подобрать правильные слова.

— Мстит.

— Кому?

— В основном мне. Но и всему миру заодно тоже.

— Но почему?

— Потому что я ее не люблю и не ревную. Это сложно объяснить, милая девочка, но я попробую. — Хальгрим повел Кэри к тенту, под которым располагались плетеные кресла. — Боюсь, теперь Лэрдис не вызывает у меня ничего, кроме досады...

Издали доносились рваные звуки марша. Оркестр старательно играл, мешая лавочникам, старавшимся перекричать его.

Праздник.

Почти ярмарка. С неизменным кукольным театром, за грязными занавесями которого скрывается нетрезвый кукольник. Куклы, надетые на руки его, кланяются, корчатся, доигрывая нехитрую пьесу. И тощий паренек в чужом, непомерно огромном пиджаке обходит редких зрителей с протянутой рукой.

В шляпу падают монеты, и паренек кланяется.

Лоточница придирчиво разглядывает оставшийся товар... и в стеклянную банку кладет новую порцию леденцов на палочке. Она ступает неторопливо, и лоток покачивается. Позвякивают в банке засахаренные орехи и перекатываются обернутые в золотую фольгу каштаны.

Ряженая гадалка порывается предсказывать судьбу... акробат в драном трико выплясывает на канате, и зазывала предлагает сбить танцора набитыми песком мячами. Желающих находится много.

Шумно.

Весело. И это веселье делает обиду горше. И Кэри запивает ее шоколадом, который уже остыл.

Кэри сложно представить подобное. Лэрдис была... красива. Элегантна. И вызывающа.

— Ее поведение наносит вред прежде всего ей самой, но разве она признается? Нельзя сказать, что наш брак был ошибкой. Роду требовался наследник, а Лэрдис представлялась весьма подходящей кандидатурой. Молода. Сильной крови. И характером, как показалось, обладала легким. И в любом ином случае у нас могло бы получиться, но, боюсь, к тому времени... мое сердце, если можно так выразиться, было занято. К сожалению, вряд ли мой род и Король одобрили бы брак с человеком. — Хальгрим остановился и провел ладонью по щеке. — И Мия понимала, что у меня есть обязательства. Ей было больно, но она смирилась. А вот Лэрдис не захотела.

Тент кое-как защищал от ветра, и Кэри присела.

— Я попытался объяснить, что не собираюсь ее в чем-то ограничивать, что после рождения наследника она будет совершенно свободна в выборе.

Это признание должно было бы шокировать, но Кэри не испытывала шок.

Отвратительно? Скорее печально. И Хальгрим задумчиво поглаживает щеку, пальцы касаются родинок, словно пересчитывают их.

— Она же потребовала бросить Мию.

— Вы не согласились?

— У нас четверо детей... младшенькой недавно исполнилось три. — Ему шла такая улыбка, искренняя, радостная. — Да, Мия не так красива, но... одной красоты недостаточно. Лэрдис никогда не могла этого понять. Знаете, было время, когда я ей сочувствовал. И считал себя виноватым. Она родила мне сына и... да, я люблю всех своих детей, но именно он станет наследником. Поэтому я не позволил ей оставить ребенка при себе. Хельги должен учиться, в том числе учиться думать сам и принимать решения. И я понимаю, что поступил правильно, что если бы оставил при ней...

— Она бы отравила его ненавистью.

Кэри закусила губу, кляня себя за то, что не сумела промолчать. И все-таки... будь отец хоть немного сильнее, сумеет он переубедить леди Эдганг и отправить Сверра в школу... или просто отослать куда-нибудь, неважно куда, главное, чтобы подальше, может, и Сверр не сошел бы с ума от чужой ненависти?

— Именно. — Хальгрим смотрел на нее задумчиво. — Я знаю, что произошло с вашим братом. И мне жаль, но эта жалость постороннего человека. Хельги нормален, как и прочие мои дети. Они знакомы друг с другом, и после моей смерти Хельги позаботится о со-родичах. Лэрдис это злит... Проклятье, я ей говорил, что не запрещаю видеться с сыном. Я бы принял и других детей, пусть и рожденных не от меня, если бы ей стало легче.

— Она вас любит?

Наверное, вопрос был смешон, но смеяться Хальгрим не стал.

— Она говорила, что любит, но... по-настоящему она любит свои обиды. Всем нам приходится чем-то жертвовать, Кэри из рода Лунного Железа. Но кто-то зализывает раны и находит в себе силы жить дальше, а кто-то носит со своим горем всю оставшуюся жизнь. Это опасная дорога. Гнилая.

— Лэрдис...

— Предпочла оставаться несчастной, а поскольку этого мало, она делает несчастными всех вокруг. Сначала она заводила романы, чтобы досадить мне. Меняла любовников, выбирала из моего ближнего круга. Женская глупая месть. Да, признаюсь, меня задевало, и не ее предательство, поскольку я с самого начала готов был к нему. Но в том, что твои друзья спят с твоей женой, есть что-то... неприятное.

Кэри кивнула, подавив вздох. А шоколад совсем остыл. И признаться, она замерзла, ног вот совсем не чувствует. Ее башмачки из телячьей кожи промокли. И чулки шелковые тоже.

— Когда она поняла, что я не собираюсь ее останавливать, равно как и ограничивать, оскорбилась. Нет, все-таки это не любовь. — Хальгрим покачал головой и замер, подперев щепотью подбородок. — Самолюбие. Раненое женское самолюбие. Ведь моя Мия — всего-навсего человек и...

У него голос менялся, когда он произносил имя той, другой женщины, а черты лица смягчались, казалось, что Хальгрим с трудом сдерживает улыбку.

Он ведь и вправду любит свою Мию, женщину, родившую четверых детей, и младшенькой — только три. И в свои три года она знает, что ее любят. И это, наверное, много. Мать от нее не отказалась и не откажется, а отец не спихнет на гувернанток, посчитав, что тем самым исполнил свой долг... и зависть, проснувшаяся в Кэри, бессмысленна, да и беззуба.

К чему сравнивать?

— Лэрдис придумала новое... развлечение, если так можно выразиться. Решила, что раз уж она несчастна, то и другие ничем не лучше. Она стала играть с людьми. Выбрать. Заинтересовать. Влюбить. И когда влюбленный мальчишка готов бросить мир к ее ногам, отвернуться.

Брокк не мальчишка, но... он ведь и вправду был готов бросить мир к ногам Лэрдис, а ей всего-то хотелось досадить мужу, которому она была безразлична.

— Лэрдис несколько увлеклась. — Хальгрим потер ладони, светлая кожа от холода покраснела. — Бросила вызов Королю, чего делать не следовало. Он с ней спал, но это ничего не значит. Она забылась и была наказана. Лэрдис просили не появляться при дворе. Естественно, она обвинила во всем меня.

Сложно как. Кэри не умеет разбираться в чужих несчастьях, ей бы с собственными справиться.

— Сначала она сделала вид, что не нуждается ни в Короле, ни в его милостях, но когда и остальные отвернулись... она мно-

гим успела досадить. И вдруг оказалась в одиночестве, а одиночество опасно тем, что не каждый способен вынести встречу с собой.

— И чего она хочет?

— Вернуться. — Хальгрим наклонился и, коснувшись щеки ледяными пальцами, вдруг подмигнул: — Смотрите на меня, леди, и улыбайтесь.

— Зачем? — шепотом спросила Кэри.

— Затем, что все-таки я, наверное, в глубине души мстительное существо...

Она ничего не поняла, но не отстранилась. От Хальгрима из рода Черного Титана пахло ванилью и корицей, свежей сдобой, имбирными пряниками...

— Она потребовала, чтобы я заступился за ее честь. Я ответил, что заступаться уже не за что. В конце концов, Лэрдис сама виновата, пусть сама и просит прощения. Но это слишком для нее... вот она и нашла альтернативное решение.

Он похож на Брокка, нет, не внешне. Взглядом. И этими морщинками, что разбегались от уголков глаз. Улыбкой. И манерой касаться осторожно, точно опасаясь прикосновением оскорбить.

— А ваш муж возвращается в город. Он в фаворе... и если попросит Короля, тот пойдет навстречу. Только, боюсь, на сей раз она несколько недооценила противника.

Хальгрим сдержанно поклонился.

— Не позволяйте ей портить себе жизнь, милая леди.

Хотелось бы Кэри, чтобы все было так просто.

— Улыбайтесь чаще. Вам очень идет улыбка. Мастер подтвердит.

Брокк?

Стоит в отдалении, смотрит так... нехорошо. Сердится.

Определенно.

И давно он... наверняка, давно. Хальгрим его заметил, и поэтому... со стороны могло показаться... Кэри вспыхнула. Жила предвечная... он же подумал... решил...

И пускай себе.

— Надеюсь, — голос Брокка звучал сухо, жестко, — я не помешал беседе?

— О нет, мы уже закончили. Буду рад встретить вас снова, милая леди. — Хальгрим смеялся, по глазам видно, но Брокк этого не замечал, как и острых игл живого железа, которые проступали сквозь волосы.

Он ревнует?

Ревнует.

Но кого? Кэри или Лэрдис?

— В таком случае нам пора. — Брокк подал руку. А во второй держит букет, тонкие стебли лаванды, перевитые золотой лентой.

Он молчал до самого дома, глядя в окно. И Кэри не спешила начинать разговор.

— Все пошло не так? — Брокк стащил перчатку и раздраженно пошевелил пальцами, глянул на руку и скривился.

— Я... волновалась.

— Знаю. — Его взгляд потеплел. — И прости, что... вышло так глупо.

— И ты меня.

— За что?

— За что-нибудь... не сердись, ладно?

— Не сержусь. Не на тебя. — Он дотянулся до руки Кэри. — А цветы мне отдашь?

— Они промерзли...

— Все равно отдай.

— Зачем?

— Мое ведь. — Брокк разжал ее пальцы, высвобождая букет. — Я не намерен уступать свое кому-то.

Кэри показалось, что говорит он вовсе не о цветах.

ГЛАВА 3

— Ты смерти моей хочешь? — Таннис обеими руками вцепилась в стек и попятилась. — Я... я на такое согласия не давала!

— Дашь.

— Стой! — Она выставила стек, и кончик его уперся Кейрену в грудь. — Не подходи! Я никуда не поеду! Я... я кричать буду!

— Кричи, — согласился он, отводя оружие. — Здесь нас не услышат.

На конюшне и вправду было тихо.

Пахло сеном, опилками, мешки с которыми стояли возле денников, свежей соломой, лошадьми и хлебом. Деревом. И яблоками. Оседлавший колоду мальчишка-конюший чинил упряжь, а карман его куртки подозрительно оттопыривался, и соловый жеребчик, привлеченный запахом, просовывал морду через прутья, хлопал губами и фыркал, выпрашивая угощение. Мальчишка отмахивался, а жеребчик вздыхал.

— Ты... ты сказал, что мы гулять будем!

Отступать Таннис было некуда, и она прижалась спиной к деннику.

— Будем. — Кейрен стек отобрал. — Верхом.

— А... а давай без верха?

Он покачал головой и, глянув на мальчишку, увлеченного работой, сгреб свою Нису, поцеловал в лоб.

— Не надо бояться.

— Я же не умею. — Таннис почти сдалась, упираться продолжала исключительно из врожденного упрямства.

— Умеешь. Я видел.

— Так это же... это же просто... пару раз... и на манеже.

— В парке ничуть не сложнее. Вот увидишь. Все будет замечательно... Это не сложнее, чем варенье варить. — Кейрен коснулся розовой щеки, на которую легла тень. — Вот увидишь... только представь, как ты будешь смотреться верхом.

— Дура дурой. И на лошади.

— Я тебе помогу.

Ей к лицу амазонка из темно-синего бархата. И короткий жакет, отделанный золотым позументом. И шляпа-цилиндр с вуалеткой. И перчатки из светлой кожи, скрывающие руки — с них так и не сошли мозоли, пусть бы сами эти руки стали мягче.

Год прошел.

Целый год, а Кейрену оказалось мало.

— Ну же, скажи, что согласна?

— Когда я тебе отказать могла, а ты и пользуешься... знаешь, кто ты после этого?

— Кто?

— Гад ты... с кисточкой, — проворчала Таннис, отворачиваясь. И румянец ей к лицу. Она так и не научилась прятать чувства.

— Какой уж есть.

Каурая лошадка отличалась на редкость спокойным нравом. Одарив Таннис меланхоличным взглядом, она совершенно по-человечески вздохнула и приняла угощение.

— Ты... не сердись. Я постараюсь аккуратно. — Таннис провела по бархатистой шее, и лошадка кивнула. — Ты ж меня знаешь.

Лошадка коснулась ладони губами, соглашаясь, что знает. Помнит. У лошадей ведь хорошая память.

— И не сбросишь?

— Не сбросит, — пообещал Кейрен.

В седло поднял сам, позволив себе задержать Таннис в объятьях. Нарушение правил? С ней было на удивление легко и приятно правила нарушать.

...да и в первородную бездну эти правила.

— Одну ногу в стремя... умница. Сейчас под тебя подтянем. Вторую — на крюк. Вот видишь, ты все прекрасно помнишь и умеешь.

Он расправил подол амазонки, стараясь не рассмеяться, до того серьезной, сосредоточенной выглядела Таннис. Ей понравятся верховые прогулки, как понравился каток и театр, магазин Мейстера и спуск по реке. Тогда она, забравшись в лодку, пробормотала:

— Только попробуй меня утопить!

И поначалу сидела неподвижно, боясь отпустить высокие борта гондолы, но успокоилась быстро...

Ее было легко радовать.

Удивлять.

И Кейрену нравилось ее удивление с привкусом осеннего дыма: на берегу вновь жгли костры из листьев, и прозрачный дым растекался по воде, скрадывая запахи. В нем вязли каменные опоры мостов, и старая баржа пробиралась осторожно, на ощупь. Дым сохранился и на губах Таннис, на коже ее, по-осеннему холодной. Он остался ранней сединой кленов, что виднелись из окна ее квартиры.

...их квартиры. Кейрен давно уже переселился на улицу Пекарей, в дом с мезонином и медным флюгером, который упорно показывал северные ветра — застрял, должно быть.

— Сидишь? — передав поводья Таннис, Кейрен отступил.

— Сижу, — мрачно отозвалась она.

— Тебе понравится, поверь мне...

— Верю. — Улыбка у нее была яркой, искренней. Ей никто не говорил, что леди пристало быть сдержанной и уж тем более не обнажать при улыбке зубов.

Даже если эти зубы на месте и весьма хороши.

— Тогда вперед. Просто держись за мной. Пойдем шагом. — Кейрен взлетел в седло, и караковый жеребец довольно фыркнул, заплясал. Он наверняка застоялся и уж точно не был бы против пойти рысью, но подчинился воле всадника.

А парк ждал гостей.

Зима пробралась в город, пусть по календарю еще значилась осень. Поседела за неделю трава, легла длинными космами, сквозь которые проступали серые залысины земли. И редкие пятна суховея, лилового, хрупкого, — яркие мазки краски на

темном полотне. Гулко стучат копыта по мощеной дорожке. Длинные тени деревьев сплетаются ветвями, и прорастают сквозь них темные столбы фонарей. Время раннее, но под стеклянными колпаками уже вьется белесое пламя.

— Как ты? — Кейрен придержал поводья и обернулся.

Хорошо.

Кобылка шла мягко, и Таннис постепенно успокаивалась. Ветер приподнял вуалетку, и она, словно опасаясь, что высокий цилиндр сорвет с волос, придерживала его рукой.

Зарумянилась.

И глаза горят. Ему безумно нравится, когда у Таннис глаза горят.

— Тогда чуть быстрее? Главное, равновесие держи. Если вдруг почувствуешь, что не справляешься, просто натяни поводья.

Она кивнула и улыбнулась.

— Кейрен...

— Да?

— Спасибо... за все.

Пожалуйста.

И снова парк, такой знакомый, изученный, но ныне открывающийся с другой стороны. Дорожки. И высокая стена кустов снежнотодника. Листья облетели, а ягоды остались, крупные, белые.

Старый тополь.

Суетливые синицы...

Широкая горловина ручья и каменный мостик, на котором остановились две девушки в форменных платьях пансионеров. Светлые головы, склоненные друг к другу, и длинный багет, один на двоих. Пальцы отламывают кусочки, бросая в воду, где уже собрались серые жирные утки, слишком ленивые, чтобы улетать на зиму...

Кейрен свернул на боковую дорожку.

Жаль, что шарманщик оставил свой пост до весны. Таннис нравилась и шарманка, и обезьянка, которая забиралась на руки, выпрашивая подарок...

На центральной аллее ныне было пусто.

Почти.

Лаковую двуколку Кейрен заметил издали. Запряженный парой длинногривых тарпенов, экипаж неторопливо катился по дорожке. Дремал на козлах кучер. И белым грибом поднимался кружевной зонтик, несколько неуместный при нынешней погоде. Впрочем, мама утверждала, что леди Ольмер и в

зимнюю стужу с зонтиком не расстанется, что этих зонтиков у нее целая коллекция, которая занимает три комнаты, пожалуй, больше лишь коллекция шиньонов леди Индорф.

Свернуть возможности не было, и Кейрен прищипорил жеребчика, выбиваясь вперед.

— Добрый день, леди Ольмер, — сказал он, поравнявшись с коляской. Леди Ольмер, завернутая в соболиную шубу, подняла лорнет. Не то чтобы она плохо видела, однако лорнет, как и зонтик, в ее представлении являлись необходимыми для леди атрибутами. — Рад встрече... вы по-прежнему прекрасны.

Леди Ольмер разглядывала его через лорнет и неодобрительно хмурилась.

Ее племянница, снулая девица, чье имя Кейрен отказывался запоминать — как и имена прочих, благообразных, по мнению матушки, девиц, которые вполне могли бы составить Кейрену партию, — поджала губы. Вот только смотрела она вовсе не на Кейрена.

Таннис придержала кобылку.

Она умница, его девочка... и все-таки придется явиться к субботнему ужину, дабы смягчить матушкино недовольство... и непонятно, отчего ей столь не по нраву Таннис. Прежде-то она делала вид, что личная жизнь Кейрена ее не касается, а теперь вдруг заинтересовалась. И ладно бы только любопытствовала, нет, матушка мягко, исподволь, но настойчиво просит найти другую девушку. Она не говорит напрямую, подбирает слова тщательно, как перья для нового своего букета, но осадок остается мерзковатый. И семейные ужины, прежде бывшие вполне себе приятной частью жизни Кейрена, давно стали в тягость...

— Как ваше здоровье? — Кейрен решил до последнего быть вежливым. И зонтик леди Ольмер опасно накренился, а лорнет задрожал в сухой руке. — Надеюсь, вас больше не мучит подагра?

— Благодарю, ваша матушка посоветовала мне чудесного доктора. — Леди Ольмер, приняв какое-то решение, вероятно касавшееся судьбы единственной племянницы, в которой она вполне искренне души не чаяла, радушно улыбнулась. — К слову, как она поживает?

— Весьма неплохо.

...достаточно хорошо, чтобы появиться в Управлении с плетеной корзинкой и платочком, который она трогательно прижимала к груди, глядя на Кейрена с молчаливым упреком. Как мог он проигнорировать вечер у леди Эржбеты? Его так ждали, так надеялись...

...а он не проигнорировал, собирался пойти, но потом как-то из головы вылетело, о чем Кейрен нисколько не сожалел. Кажется, именно тогда они с Таннис устроили пикник на клетчатом одеяле. Был узкий камин и плетеная корзинка. Свежая выпечка, мягкий сыр и темное терпкое вино, которое Кейрен разлил на одеяло...

...было молчание на двоих.

И ее рука, замершая на груди. Задумчивый взгляд, в котором отражалось пламя. И всполохи на бледной коже. Отросшие волосы, начавшие завиваться, и веснушки... Таннис их целое лето свести пыталась, а они, обласканные солнцем, не уходили. Хорошо, что не уходили.

Без веснушек Кейрену было бы одиноко.

— Надеюсь, — леди Ольмер выставила лорнет, едва не задев племянницу, — мы с нею вскоре увидимся...

В этом Кейрен не сомневался. О нет, он любил свою матушку, но порой ее чрезмерная забота начинала раздражать.

Эта встреча испортила прогулку. И жеребец, чувствуя настроение всадника, шел неторопливо, то и дело вздрагивая, а Кейрен позволял коню выбирать дорогу. Остановился тот у заводи. Здесь листья не убирали, и темно-бурый ковер опада успел пропитаться влагой, а на его поверхности проступали ледяные нити.

Кейрен спешил и, забросив поводья на сук, поспешил к Таннис.

— Ты как? — Он снял ее с седла, но на землю не поставил.

— Мне... пожалуй, понравилось. — Таннис стянула перчатку и погладила его по щеке. — Сидишь себе, а она идет... Красота! Отпустишь?

— Неа.

— Я тяжеляя.

— Это тебе кажется...

— Ты расстроен.

И ведь соврать не получится, она на удивление тонко чувствовала его ложь. И его настроение. И с настроением этим умела ладить.

— А еще у тебя уши замерзли. — Теплые ладони прижались к ушам.

И вправду замерзли.

Кейрен потерся носом о жесткий ее рукав.

— Это из-за той старухи? — Таннис заглянула в глаза. — Она донесет твоим родителям, что ты опять меня выгуливал?

— Прогуливал. Выгуливают собак.

— Хорошо, — легко согласилась Таннис. — Она донесет, что я тебя выгуливала. Это запрещено?

— Не принято.

Опасные вопросы, которые раньше и вопросами не казались, но напротив, неписанные правила спасали Кейрена от лишних забот.

— Почему?

— Потому что... — Он взгляд отвел. Как объяснить Таннис, что ее пребывание в парке днем неуместно? Что сам ее вид оскорбил и леди Ольмер, и бесцветную ее племянницу? А заодно и матушку Кейрена? Что любовниц не принято выводить... ладно, не в свет, но в театр.

И в магазинчик старика Кассия, где пахнет книжной пылью и чернилами, а на полках бок о бок живут и любовные романы, и философские трактаты, и садоводческие календари. И в задней части магазина за шелковой ширмой прячутся столики, где можно присесть с приглянувшейся книгой... Таннис понравился старик, а она — ему.

Вот только книги он обещал присылать на дом.

...сами понимаете, господин Кейрен, мои клиентки не одобряют...

Понимает.

Но принять не выходит. И все-таки Кейрен ее опустил на землю, но отступить не позволил, прижал к себе.

— Я тебя не отдам.

— Бестолочь ты. — Таннис взъерошила ему волосы. — Рано или поздно...

— Никогда.

— Кейрен... — Она разомкнула кольцо его рук. — Давай не будем об этом? День хороший... смотри, утка! Жирная какая! А на курсах нам показывали, как утку готовить с черносливом...

Утка выбралась на берег и, отряхнувшись, заковыляла к лошадям. Она была толстой и неповоротливой, ко всему вряд ли догадывалась о коварных планах Таннис. А та говорила о своих курсах и о варенье из красной и белой смородины, которое у нее получилось лучше, чем у остальных, значит, даром Таннис столько времени потратила, гусиным пером косточки выковыривая... и о других курсах, где ее тоже хвалили и...

Голос был неестественно бодрым, и, когда она, устав говорить, замолчала, Кейрен снова ее обнял.

У них есть этот день.

И пруд.

Утка растреклятая, лошади. А дома ждет камин и клетчатый плед с винным пятном...

...спящим, он казался таким беззащитным.

По-прежнему худой и жилистый, с бледной кожей, которая на локтях была шершавой, треснутой. И Таннис гладила трещинки. Знала — не проснется.

Сон у него был на редкость крепким.

И хорошо. Можно смотреть, не боясь быть застигнутой. Не то чтобы она делала что-то неприличное, из того, о чем не принято говорить — а как Таннис усвоила, многие темы являлись запретными, — но было как-то неловко.

Сколько им осталось?

Дни?

Недели?

Месяцы? И во сне Кейрен продолжает гадать, оттого и хмурится. А она, дотянувшись до губ, гладит их, нашептывая:

— Я здесь.

Рядом. Пока еще... быть может, повезет и их связь продлится год... или два. Сколько бы ни было, своего Таннис не отдаст. Будет больно? Обязательно будет, она ведь с самого начала все понимала правильно. Кто она?

Она уже сама не знает кто.

Прежняя Таннис мертва, а новая... содержанка?

...Кейрен повернулся и, не открывая глаз, пробормотал:

— Что?

— Ничего. — Она потерлась носом о его щеку. — Спи.

— О чем ты думаешь? — Спросонья его глаза были темными, черными почти. И Кейрен жмурился, давил зевок.

— Ни о чем.

О том, что эта жизнь, одолженная, красивая, как рождественская открытка, так и останется чужой. Таннис тесно в ней.

В корсетах.

В чулках шелковых, окаймленных колючим кружевом. Подвязки жмут, а пышные юбки мешают ходить. Да и ходит она иначе, держит осанку... леди Евгения порадовалась бы, наверное.

А Войтех? Увидел бы он леди или как остальные?

Нет, никто ничего не говорит, ведь Кейрен платит за курсы... за все он платит и злится, если Таннис пытается сказать, что она сама справится. Но правда в том, что нет, не справится. Без него тяжело.

А будет еще тяжелее.

...она уже другая, но... леди никогда не станет. И дают ведь понять. Вежливо. Улыбочкой рисованной, от которой внутри все леденеет. Движением бровей. Небрежным кивком и рассеянным взглядом, когда кажется, что смотрят не на нее, а сквозь нее.

Таннис терпит.

И учится.

Ей плевать, что думают остальные благонравные девицы, которые не желают иметь ничего общего с такими, как Таннис. Но им приходится, потому что за Таннис платит Кейрен, и даже не в деньгах дело, в имени, в гербе, в родовом перстне, который он по-прежнему носит.

Пускай.

Надо взять все, что получится.

Варенье это из красной и белой смородины... утку растреклятую, которая вышла жесткой, как подошва, хотя Таннис все делала верно... пейзажи акварелью... искусство декламации...

...и эти ночи вдвоем.

Вечера, когда он приходит уставший... домой. Он так и говорит, что домой, и наверное, вправду верит. Наивный по-своему. Пускай. Есть еще время.

На двоих.

Для двоих.

Но когда-нибудь оно закончится, и тогда... будет объявление в «Светской хронике». И Кейрен, отводя взгляд, заговорит о том, что на свадьбе настаивает семья и что свадьба ничего-то не изменит... почти ничего. Просто где-то появится женщина, которая будет зваться его женой. И он станет возвращаться уже не в квартиру к Таннис, но к ней...

Наверное, будь Таннис другой, она нашла бы силы смириться. Ведь многие живут так, привыкают, приспособливаются... а она не сможет. Пыталась представить, как это будет, и задышалась от боли.

Перетерпит.

Она сильная. Главное, уйти, разорвать связь, а там и раны зализуются, и жизнь начнется. Еще раз наново? Не привыкать.

— Почему ты плачешь? — Кейрен перевернулся на спину. — Тебя кто-то обидел?

— Никто.

Никто, кому можно было бы ответить за обиду ударом на удар.

— Тогда почему ты плачешь? — Он поймал слезу на ее щеке и, дотянувшись, снял ее мизинцем.

— В глаз что-то попало.

И спеша уйти от опасных вопросов, Таннис наклонилась, прижалась к груди.

— Ты ешь, как не в себя, а все равно тощий... и мерзнешь.

Ноги у него и под пуховым одеялом холодными оставались, и Кейрен под утро начинал ворочаться, одеяло стягивая, пока оно вовсе не оказывалось на полу. Сам же он обнимал Таннис, прижимал к себе и засыпал, уткнувшись носом в ее спину. Она же, напротив, просыпалась и лежала тихо-тихо, отсчитывая мгновения до рассвета. Старая привычка. Все казалось, что совсем рядом раздастся скрип половиц. Хлопнет дверь. И из-за стены донесется ворчливый мамашин голос:

— Вставай уже...

...или загудит, подбираясь к заводским воротам, баржа с углем, выдернет Таннис из сна, который она приняла за настоящую жизнь.

— Ниса... мне с тобой хорошо. — Пальцы Кейрена задумчиво скользили по шее, чтобы замереть на ключице. — Спокойно. Вряд ли ты поверишь, но я никому этого не говорил...

Поверит. Она чувствует, когда он лжет. Или сердится. Или впадает в тоску и тогда ложится поперек кровати, растопырив локти, точно пытаясь защитить эту кровать ото всех, даже от Таннис.

...он приносит с работы усталость и странную, детскую почти обиду, о которой не хочет говорить, но все-таки заговаривает. И, увлекшись рассказом, сам о ней забывает. Таннис же нравится слушать, не столько о делах, сколько о людях, Кейрена окружающих.

О даме-секретаре, которая каждую неделю перешивает кружево на манжетах форменного платья, надеясь, что подобная вольность останется незамеченной. И порой ее окаянства хватает на то, чтобы срезать скучные костяные пуговицы, заменив их ониксовыми. Она чувствует себя отчаянно храброй и прячет в верхнем ящике стола жестянку монпансье.

О констебле и его бакенбардах, которые он расчесывает мелким гребнем и подравнивает крохотными ножничками, а укладывает вовсе пчелиным воском, волосок к волоску.

О тайном увлечении следователя Альберта Бино лотерейными билетами и вере в непременный выигрыш... о людях и нелюдях, окружавших Кейрена. Ему удавалось подмечать какие-то такие детали, мелочи, которые выглядели забавными, но не смешными.

...какой он видел ее?

Спросить?

Не ответит, да и к чему лишнее знание? Странно лишь, что его сторонятся, считают недалеким, слишком чужим, принадлежащим иному миру.

— Не спится? — Кейрен смотрел, подслеповато шурясь.

— Не спится, — призналась Таннис. — Из-за тебя. Лежишь тут...

— Я ж ничего не делаю!

— Вот именно... лежишь и ничего не делаешь...

Мягкий смех. И ледяная ладонь скользит по спине.

— Исправлюсь, — пообещал Кейрен. — Вот прямо сейчас...

А утро наступило с востока. Пришло с туманами, затянувшими окна молочной взвесью, плеснуло водой на морозные узоры и принесло чудесный аромат кофе.

— Вставай, соня. — Кейрен пощекотал нос. — Завтрак готов.

Суббота. И в кои-то веки она проснулась позже Кейрена.

— А что на завтрак?

— Блинчики. — Он был босым, в рубашке навыпуск. Рукава закатаны, ворот расстегнут. И розовый фартук ему к лицу. — И мед. Есть еще творог со сливками...

Он улыбался.

...конечно, если суббота, то блинчики на завтрак обязательны. И творог в высоких креманках, белая гора, увенчанная пьяной вишней.

Орехи.

И ванильное суфле с мятой.

А блинчики у Кейрена получаются тонкими, кружевными, полупрозрачными.

— Таннис, — он снял фартук, аккуратно повесив на крючок, — нам нужно поговорить.

Сердце екнуло.

Уже?

— Конечно.

Плакать Таннис не будет, не при нем, позже, когда останется одна. Кейрен устроился напротив, снял вишню и, повертев в пальцах, вернул на место.

— Возможно, тебе придется уехать.

— Куда?

Он не спешил с ответом.

— За Перевал... я писал Райдо, он будет рад принять тебя на месяц или два.

За Перевал? На месяц-два? Таннис подвинула чашку. Кофе

она, честно говоря, не любила, тягучий, горький, и эту горечь потом водой не запить.

— У него поместье. Яблони цветут... не сейчас, а весной. В принципе цветут. И вообще там климат мягче. Море недалеко. Райдо тебе понравится. И ты ему, думаю, тоже.

В этом Таннис крепко сомневалась, и сомнение свое она зажевывала блинчиком, в кои-то веки не чувствуя вкуса.

— И с его женой вы подружитесь... — не очень уверенно произнес Кейрен.

— Темнишь?

— Есть мнение, что... зима будет небезопасной. — Он зачерпнул творог пальцем и палец облизал. — Таннис, я не должен был бы говорить тебе... я и думать-то об этом не должен.

Кейрен решительно подвинул к себе креманку.

— Прилив начинается.

— В реке?

...чем бы ни был прилив, но Кейрен отсылает ее не потому, что собирается жениться. И глупо радоваться грядущим бедам, но Таннис радовалась.

— В какой-то мере это тоже река, но огненная. Под городом лежат материнские жилы, очень старые, если не сказать — древние. Ты ведь помнишь силу истинного пламени?

Таннис кивнула.

Она желала бы вымарать эти воспоминания, где огонь плясал на развалинах дома, а соседний, искореженный взрывом, медленно осыпался, где к серому небу поднялись серые же бабочки пепла.

Рот наполнялся кровью прокушенной губы.

— Так вот, жилы сильнее в разы... в десятки раз... в тысячи.

— Они прорвутся? — Голос звучит ровно, равнодушно даже.

— Я бы хотел пообещать, что нет, но... если бы только прилив... в город съезжаются все, у кого есть сила... Вышие вот. И вожаки... отец мой возвращается... и братья... и здесь скоро станет оченьлюдно, точнее нелюдно... и в норме этого бы с лихвой хватило, чтобы удержать жилы.

— Но?

— Но, возможно, кое-кто воспользуется ситуацией...

— Бомбы?

— Бомбы, — не стал отрицать Кейрен. Он сидел, упиравшись локтями в стол, сунув пальцы в волосы, сгорбившись. — И листовки... и люди, которые на грани бунта... и подземники... их пытались зачистить, но никого не нашли.

Таннис удивилась бы, будь оно иначе.

— Мы и до города-то не добрались. Дядя считает, что ты преувеличила, когда говорила о них. А я, как обычно, гоняюсь за призраками. Я бы хотел, чтобы все оказалось именно так. Лучше быть глушцом, который воет на луну в луже, чем... если случится прорыв, Верхний город исчезнет.

Поднявшись, Таннис обошла стол и положила руки на плечи. Острые. И напряженные. А на рубашке пятно... и широкие лямки подтяжек впились в кожу.

— Он ведь строился позже. — Кейрен распрямился и, запрокинув голову, оперся затылком на ее живот. — Там грунт мягкий... закипит все на раз.

— А Нижний?

— Ты сама видела — скалы.

— Значит, это выгодно...

— Таннис, — он перехватил ее руки, — не думай о том, кому и зачем это выгодно. Ты уедешь. Ясно?

— А если нет?

— Уедешь, — повторил Кейрен, руки сжимая. — Я не хочу тобой рисковать.

И тепло, и больно. И отвернуться надо, спрятать предательские слезы. Рисковать он не хочет...

— А ты?

— Я — другое дело. У меня есть долг. Да и, в конце концов, я могу ошибаться.

Он произнес это бодро, но Таннис не поверила.

За Перевал, значит...

...если с ним, то она и на Перевал согласна.

— И еще, — он поцеловал раскрытую ладонь, — не жди меня завтра, ладно? Отец возвращается и...

— Я понимаю.

...отец, братья, семья, частью которой Таннис никогда не станет. Но это будет завтра. У них есть целый день и даже больше...

Она научилась ценить время.

ГЛАВА 4

Марта кралась.

О нет, никто не запрещал ей выходить из дому, но прежде у нее и мыслей не возникало о том, чтобы покинуть Шеффолк-холл. Да и сегодняшний побег вовсе не был побегом.

Так она себя уверяла.

И жалась к влажной стене, на которой висели потемневшие от времени портреты.

— И куда вы собрались, дорогая тетушка? — насмешливый голос чужака застиг ее у двери, и Марта вздрогнула, выронив зонтик.

— П-прогуляться захотелось.

Она ненавидела себя за страх и за то, что не способна с этим страхом справиться.

— Сегодня не самая лучшая погода для прогулок, тетушка. — Чужак наклонился за зонтиком.

— Да?

— Конечно. — Голос его был обманчиво мягок. — Холодно. Ветрено. И снег мокрый...

Он предложил Марте руку, и она не посмела отказать.

— А вы одеты так легко... вам следует более внимательно относиться к своему здоровью.

Смеется? Нет, ни тени улыбки в глазах, а губы кривятся, и само лицо — не лицо, но деревянная маска, из тех, что украшают кабинет старого герцога.

— Ко всему, город опасен, дорогая тетушка. — Он вел ее прочь от двери, и Марта оглянулась, понимая, что больше не посмеет нарушить негласный запрет. — А мне бы не хотелось, чтобы с вами произошло несчастье.

— Я... у меня нитки закончились, — пожаловалась она.

Пусть считает ее чудаковатой дурочкой. Дурочек не опасаются.

— Красные. И еще синенькие. Я взялась вязать шарф, ты же знаешь, Освальд, как здесь холодно зимой? И я подумала, что тебе очень пойдет шарф.

— Синий? Или красный?

— Полосатый, — решительно заявила Марта. — Но нитки закончились и...

— Я позабочусь, чтобы сегодня же вам принесли нитки.

— Синие?

— Всякие, дорогая тетушка. Сами выберете. Мне для вас ничего не жаль. — Он остановился перед дверью. — Даже овсяного печенья.

Марта зарозовела, понимая, сколь странным выглядит набитый печеньем ридикюль. Впрочем, разве в этом месте возможно остаться нормальной? Отнюдь.

— Вы же понимаете, — Освальд любезно распахнул дверь, — как сильно огорчилась бы моя матушка, случись с вами ка-

кая-нибудь неприятность. Вы — единственный близкий ей человек...

Ульне вновь стояла у окна. И кружевная перчатка цвета слоновой кости почти сливалась с морозными узорами на стекле. Ульне не обернулась, но Марта знала — слышит.

Улыбается.

— А нитки? — Марта вцепилась в рукав чужака. — Когда мне принесут нитки?

— Скоро, тетушка, скоро.

Он осторожно разжал ее пальцы и, наклонившись, коснулся сухими руками ладони.

— Надеюсь, вы мне свяжете теплый шарф.

— Я постараюсь.

Освальд ушел.

— Твой побег — глупость невероятная. — Ульне заговорила не сразу. — Куда ты собиралась идти?

К отцу... нет, отец мертв. Он ушел прошлой зимой, а может, и позапрошлой или того раньше. Этот дом съедает время, делая все дни похожими друг на друга, и Марта заблудилась в них.

Но есть еще брат, которого Марта никогда не видела.

Принял бы?

Как знать... или вот полиция. Полиция должна была бы знать, что Освальд стал другим, точнее, что прежний Освальд исчез, наверняка его убил этот чужак, а нынешний Освальд жуток. От него у Марты немеют пальцы на ногах, а это — верный признак.

Поверили бы ей?

Или тоже посчитали бы сумасшедшей?

Расстегнув ридикиюль, Марта вытащила печеньице, позавчерашнее, уже твердое, но зубы у нее сохранились, пережуют.

— Не зли его, Марта. — Ульне все-таки отвернулась. Белое платье делало ее похожей на призрака. А ведь и вправду только призрак и остался... была-то другой, до свадьбы своей, до мужа, о котором заговаривать было запрещено, до рождения Освальда. Дом сожрал Ульне, оставив... нечто.

И Марту сожрет.

— Ульне, — она подошла к подруге и взяла ту за руку, сжала, — он не твой сын. Ты это понимаешь?

— Мой.

— Он... он убил Освальда.

— Это Освальд, Марта. — Ульне погладила ее по щеке. — Он просто изменился... повзрослел...

— Он чужак...

— Пойдем, я кое-что покажу тебе...

...родовое древо Шеффолков. Герб с белой розой, которая выделялась в полумраке холла пятном. Черные жилы ветвей. Имена и снова имена, погасшие, забытые, заросшие грязью.

— Винсент Шеффолк. — Ульне нашла имя и, поднявшись на цыпочки, накрыла его ладонью. — Сменил пять жен, и лишь последняя родила ему сына... Винсенту было семьдесят три. Альберт Шеффолк...

Новое имя, и буквы Ульне поглаживает, очищая от пыли.

— ...трое его сыновей погибли во время Чумы. Он вынужден был взять в жены Магдалену Виксби, и она родила ему мальчика... точнее, сначала она родила мальчика, а потом он сочетался браком... Грегори...

Она переходила от имени к имени, выплетая историю древнего рода. И Марта молчала, понимая, что именно ей хотят сказать.

— Освальд нашей крови. — Ульне разглядывала измазанную пылью перчатку. — Просто... он потерялся. А потом нашелся. Так бывает.

— Да, Ульне.

— Ты ведь не станешь больше убегать?

— Нет, Ульне.

— Или вредить моему сыну?

— Нет, Ульне. Конечно нет...

— Хорошо. — Ее лицо озарила счастливая улыбка. — Я рада... Освальд сказал, что завтра отведет нас в театр. Я так давно не была в театре. И знаешь, я подумала, что мы должны устроить прием. Мальчика пора вывести в свет.

И Марта, вцепившись в увесистый ридикюль, пробормотала:

— Конечно, Ульне... ты совершенно права.

Марта задумчиво перебирала мотки шерстяных ниток. Она вытягивала то один клубок, то другой, вертела в пухлых коротких пальчиках и роняла. Порой мотки падали на розовый бархат юбки, теряясь в складках ее, порой скатывались в низкое кресло, порой и вовсе летели на пол.

Ульне поморщилась.

Глупая женщина, беспокойная. И забыв о шерсти, она раскрывает ридикюль, вытаскивает очередное печенье, отряхивает с него пылинки — в ридикюле Марта носит обрезки шерстяных нитей, крючок для вязания и пару деревянных коклюшек, хоть кружевом она не занимается давно.

Печенье она тоже вертит, но не откладывает, как того Ульне ожидала.

Поняла ли она?

Вряд ли. Слабая кровь, потерянная ветвь. Ее отец забыл, кем являлся, а может, и не он, но его отец... или дед... или прадед... вереница предков встала перед внутренним взором Ульне. Она знала имена, ничего, кроме имен, заполнивших страницы старой книги.

...здесь твое прошлое, — сказал отец, положив ладони Ульне на потрескавшуюся кожу переплета. И под тонкими хрупкими пальцами книга ожила.

О да, Ульне прекрасно помнит ее, каждую страницу. Самые первые листы выцвели, а пергамент — тогда бумаги не знали — сделался тонким, хрупким. И вечерами, когда еще было желание и силы, она переписывала историю набело, дотошно, сохраняя каждую букву...

Пергамент сменился бумагой, плотной, рыхловатой.

А позже — тонкой, но тисненой, с белой розой на каждой странице, и где-то среди этих страниц затерялась корона.

Возвратится.

И ради этого стоило жить.

Ульне коснулась губ, стирая улыбку, погладила соболиную накидку, все-таки в доме, несмотря на заботу того, кто представлялся ее сыном, было довольно-таки прохладно, и сказала:

— Передай Освальду, что я хочу с ним побеседовать.

Марта вздрогнула, и очередной клубок выпал из ее пальцев, покотился, остановившись у камина.

— Я?

А побледнела-то как, и вечный ее румянец, явно свидетельствующий о плебейской крови, почти исчез. Почти... все-таки Марта чужая изначально. Слишком уж мало в ней от истинных Шеффолков. Ульне осознала это еще в тот день, когда впервые увидела ее, девушку в нелепом розовом платье. Полнотелую, белолицую...

— Это твоя кузина Марта, — сказал отец, подталкивая девушку, которая поспешила присесть в неуклюжем реверансе. И массивные кринолины закрипели, а припорошенный пудрой парик качнулся. — Я решил, что тебе нужна компаньонка. Марта...

...дочь мясника, у которого помимо Марты еще пятеро детей, и он наверняка обрадовался возможности сделать из дочери леди.

Не вышло. Несмотря на все старания Ульне, годы не прибав-

вили Марте вкуса. Она сохранила любовь к невообразимым нарядам, к дешевым романчикам и вязанию... ладно, пускай.

— Ты, — повторила Ульне. — Тебе следует побороть этот нелепый страх перед Освальдом.

— Я не боюсь.

— Боишься.

— Боюсь. — Она никогда не умела смотреть в глаза и сейчас отвернулась. — Он... жуткий. Ты же чувствуешь...

...силу, ту, которой был лишен ее, Ульне, настоящий сын. Перелюбила его Марта с молчаливого попустительства самой Ульне. Избаловала. И Ульне едва не погибла вместе с ним. А может, и погибла, потому что сейчас Ульне продолжала ощущать себя неживой. Она дышала, ибо помнила, что должна дышать. Просыпалась, ведь глаза открывались, и сон уходил. Лежала, гладила озябшими пальцами сухой лен простыней, удивляясь тому, что способна его ощущать.

— Иди. — Ульне умела говорить так, что Марта слушалась.

Слабая.

Бестолковая.

И может, действительно было бы легче ей умереть, но... Ульне не готова остаться совсем одна. Она привыкла к Марте, к вычурным ее нарядам, к ярким цветам, пожалуй, единственным ярким цветам, с которыми мирился древний Шеффолк-холл, к голосу ее, к нелепой манере воровать печенье. И к вязаным шарфам непомерной ширины.

Их Марта дарила на каждое Рождество.

Она, не смея перечить, поднялась и принялась торопливо запихивать клубки шерсти в корзинку. Те выскальзывали, разворачивались, и тонкие нити переплетались, что невероятно злило Марту. И злость возвращала румянец на пухлые ее щеки.

Сказать, чтобы не ела столько?

Для нее еда — единственная радость... пускай уж... во всяком случае, доктор утверждает, что сердце Марты здорово, а значит, некоторая чрезмерность телесных форм ей не повредит.

Ульне едва не расхохоталась. Все-таки она становится нелогична, то всерьез раздумывала над тем, стоит ли позволять Марте жить, то вдруг беспокоится о здоровье.

Безумие.

Легкое безумие на кошачьих лапах... в Шеффолк-холле кошки не приживались, даже те глупые дворовые котята, которых некогда таскала Марта, прятала на кухне, подкармливала, но и они сбегали... кошки — умные животные.

А люди глупы.

Слабы. Почти все, кроме, пожалуй, Ульне и того, кто притворяется ее сыном.

— Ос-вальд, — повторила она шепотом, холодным дыханием коснувшись пальцев. Имя осталось на них, впиталось в нить старого кружева... попросить о новых перчатках?

И платье понадобится, пусть сошьют такое же, Ульне уютно в других, слишком уж привыкла она к фижмам. Подобрал шлейф — запылится, потемнел от грязи, — Ульне неторопливо направилась к себе. Предстоящий разговор мало волновал ее, пожалуй, напротив, она испытывала непривычный душевный подъем.

Дверь в ее комнату была заперта, а ключ Ульне носила с собой. Массивный, отлитый из бронзы, с длинной цевкой и украшением в виде розы, он оттягивал цепочку, порой врезался в кожу, оставляя красные следы. Марта уверяла, что нет нужды ключ прятать, что никто в доме не войдет в покои Ульне, но... так надежной. Замок щелкнул. И двери с протяжным скрипом — петли постарели, того и гляди рассыплются — распахнулись. Ульне закрыла глаза, как делала всегда.

Глубокий вдох.

И запах тлена. Сырости.

Древности.

Шаг и шелест юбок. Шлейф падает, скользит, заставляя распрямить спину и поднять подбородок.

Полутьма и тени в ней.

Кровать. И балдахин, малейшее прикосновение к которому поднимает пыль. Перину следовало бы проветрить, но Ульне была отвратительна сама мысль о том, что комната изменится, пусть бы и ненадолго, что чьи-то руки, кроме Мартиных — все же и от нее есть польза — прикоснутся к этой постели, потревожат зыбкий покой мертвых роз. Сухие стебли хрустят под ногами, и прахом рассыпаются лепестки, уже не белые, пожелтевшие, как желтеет древний пергамент. Столь же хрупкие...

— Мама? — Освальд остановился на пороге.

Правильный мальчик.

Понятливый.

...Тедди сделал хороший подарок.

— Войди, дорогой. — Ульне присела перед зеркалом... пыль... и проталины в ней... прикасалась, смотрела на себя, бесстыдно подсчитывая годы по морщинам.

Освальд вошел и дверь прикрыл.

Осматривается.

Ему доводилось бывать здесь дважды или трижды? Она приглашала, скрепляя этими визитами перемирие, негласный договор.

— Ты хорошо себя чувствуешь... мама?

— Да, дорогой.

Не поверил, взял за руку, и два пальца легли на запястье. Освальд нахмурился, слушая стук ее ослабевшего сердца.

— Мама...

— Тебе не следует...

— Следует. — Он впервые позволил перебить ее и, опустившись на пол, на истлевшие стебли, искрошенные листья, на ковер, который скрывался под грязным снегом сухих лепестков, заговорил. — Леди Ульне...

— Мама.

— Леди Ульне, — тот, кто притворялся ее сыном, смотрел снизу вверх, и черты лица его смягчились, — вы и вправду мама... А я не смел надеяться, что вы будете ко мне хоть сколько добры.

Эта доброта ничего не стоила. Да и не добротой она была вовсе, скорее тяжестью одиночества, тоской, которая выедала остатки души, требуя заполнить их хоть чем-то.

Освальд ушел.

...ее никчемный беспокойный сын, который все никак не желал понять, что будущее предопределено прошлым. Его будущее.

Его долг.

Его право.

Он был готов променять и то, и другое на горсть золота, чтобы бездумно эту горсть швырнуть на зелень игрового стола.

А этот... этот был рядом. Притворялся родным, играл, вовлекая Ульне. Вот только игра перестала быть игрой. И она, дотянувшись до бледного шрама, уродовавшего лицо Освальда, скользнула по нему пальцами, коснулась губ...

— Ты хороший мальчик, — голос ее смягчился. — И я... рада, что мы встретились.

— Марта...

— Не повредит тебе. И мне тоже. Она глупа и безобидна. Но идем, я хочу показать тебе кое-что.

Она поднялась, опираясь на его руку, с удовольствием отметив, что рука эта крепка.

Он научился одеваться, и оказалось, что Освальд — ее Освальд, поскольку другого давным-давно следовало бы забыть, — обладает утонченным вкусом. Ему к лицу темный кос-

тум, пожалуй, излишне строгий, но его роль требует подобной маски. Черная шерсть пиджака. Шелк жилета. И светлое сукно рубашки, не белое, но цвета слоновой кости. Аккуратный крой, в чистоте линий которого видится работа хорошего портного.

— Ты чудесно выглядишь, дорогой. — Ульне вновь протянула пальцы к шраму. — Как-нибудь расскажешь, где и когда получил его. Об этом буду спрашивать не только я. Но мне ты расскажешь правду.

Она подвела его к шкафу, огромному, занимавшему всю дальнюю стену. И на запертых дверцах проступали пятна солнечного света. Тускло поблескивали латунные ручки.

Шкаф был заперт.

И ключ, тот, который Марта предлагала повесить в холле, идеально подошел к замку. Два оборота. И надавить. Дверцы заросли грязью и поддались не сразу, а быть может, сама Ульне ослабела? Освальд помог, распахнул, едва ли не сорвав с петель.

— Стой, — велела Ульне, и он подчинился.

Шкаф был пуст. Почти. Два сменных платья, которые Ульне сдвинула в сторону и, надавив обеими руками на заднюю стенку, заставила ее покачнуться.

За стенкой скрывался проход.

— Дорогой, — Ульне обернулась, — будь добр, захвати свечи. Можешь взять мой канделябр...

...из пары, подаренной к свадьбе. На них так и остались банты из прозрачной органзы, правда, потерявшей свой исконный цвет. Какими же они были? Синими, кажется... или розовыми? Розовый — это невыносимо пошло...

Здесь ничего не изменилось.

Лестница. Грубые ступени, выбитые в скале. Неровные, но изученные Ульне. Прежде она частенько спускалась, чтобы поговорить с мужем, даже когда он перестал отвечать. Оказывается, она еще помнит. И то, как скользят всполохи света по стенам и кренился, расплывается длинная тень, и то, как гулко разносится, бьет по нервам звук собственных шагов.

Ниже.

И еще.

Остановиться, переводя дух. Голова вдруг идет кругом, и сердце болезненно сжимается. Освальду достаточно толчка, и... ничего, он подходит, берет под руку и осторожно интересуется:

— Вам дурно?

— Ничуть. — Ульне получается улыбнуться, ей почти весело, и все равно горько. Память норовит вырваться, а ведь, каза-

лось, приручила, посадила на цепь, кинула в зубы обглоданную совесть.

Простила себя и его тоже, бездумного своего супруга.

Кого он вздумал обмануть?

— Идем, дорогой. — Его рука — надежная опора. А шлейф платья заметает следы на пыли. Паутины вновь наберет. Ульне всегда интересовало, откуда берутся в подземелье пауки, если здесь нет мух? Чем они питаются? — Уже недолго...

Ее всегда изнурял не столько спуск, сколько подъем, особенно когда благоверный еще был жив. Проклятья летели в спину, поторапливали, и Ульне почти бежала... а ведь не сбылось. Сколько раз он желал ей шею свернуть?

Жива.

И будет жить.

И быть может, увидит, как исполняется последнее предсказание.

— Здесь. — Она позволила Освальду войти первым.

Камера, и за проржавевшей решеткой — двое. Одежда истлела, иссохли тела. Бурая пергаментная кожа, пустые глазницы, космы волос, зубы торчат... у ее дорогого Тода были хорошие зубы, чего не скажешь о той потаскушке, что спряталась в углу.

— Я так понимаю, — Освальд подошел к решетке, склонился, разглядывая тела, — это...

— Твой отец. — Ульне перекрестилась. — И его жена.

Узкий стол. И стул, повернутый сиденьем к стене, почти сросшийся с этой стеной. Старый подсвечник с огарком свечи. Странно, что его не тронули крысы. Ульне коснулась и тотчас отдернула руку — воск сделался мягким, желтоватым.

...почти как кожа Тода.

— Значит, он не сбежал? — Присев на корточки, Освальд поставил канделябр вплотную к решетке. Мертвец сидел, прислонившись к прутьям, обхватив их иссохшими пальцами. И сквозь разрывы кожи виднелась кость. — И если его жена здесь, то...

Ульне подошла к решетке.

— То наш с ним брак недействителен. А ты, милый Освальд, являешься бастардом. Он был красив, мой Год. А я... двадцать четыре года, старая дева, которая редко выглядывала за порог Шеффолк-холла. Он сам написал письмо.

И конверт сохранился. От него уже пахнет ладаном, тяжелый церковный аромат, который прочно увязывается в воображении Ульне со смертью. И она редко открывает этот конверт,

порой берет в руки, но и только. Печать потрескалась, осыпалась, буквы выцвели.

— Назвался моим кузенком, дальняя родня... отец говорил, что родни у нас много, но почти все позабыли о родстве. И мы встретились. Господи, он был красив, если не сказать — прекрасен. И я влюбилась с первого взгляда. Любовь — опасная игрушка, мальчик мой.

Любовь заставила принять в Шеффолк-холле и Тода, и бледненькую его сестрицу, которая редко подавала голос, да и вовсе старалась держаться в тени.

— Он сделал мне предложение, и я решила, что нет женщины счастливей...

— Когда вы узнали правду, мама?

— Наутро после свадьбы...

...первая брачная ночь, символическая, ведь и до нее случались ночи. К чему терять время? Ульне так спешила любить и быть любимой. И вот она проснулась в темноте и одиночестве, испугалась, что Тод лишь пригрезился. Встала. Отправилась искать... нашла... ее Тод стоял на коленях перед той, кого называл сестрой, и просил прощения. Она же рыдала, и узкие плечи сотрясались.

Следовало бы уйти, но что-то задержало Ульне.

— Он говорил, что осталось уже недолго, что скоро я умру, а он станет наследником Шеффолк-холла. Он собирался его продать, представляешь? И мои драгоценности тоже. А вырученные деньги позволили бы им исчезнуть. Уехать за Перевал.

— И ты...

— Утром я сказала, что хочу доверить мужу семейную тайну. — Ульне помнила холодную ярость, ревность, которая разъедала ее изнутри. И то, сколь очевидной стала скрываемая этими двоими тайна. Как прежде она, ослепленная любовью, не замечала робких случайных прикосновений, нежных взглядов, осколков фраз... — Они решили, что речь идет о Черном принце...

— И спустились сюда. А здесь...

— Их встретил Тедди. — Ульне погладила того, кто был ее сыном, по волосам. — Он принял мою обиду очень близко к сердцу. Ты же знаешь, как много для него значит семья.

— Знаю. — Освальд коснулся шрама на щеке.

...все-таки Тедди виновен. Зря он мальчика попортил, с другой стороны, шрамы украшают мужчин.

— Он их не убил. — Освальд гладил белую нить.

— Отдал мне. А я была в своем праве.

...Тод бранился. У него долго хватало сил, чтобы ругаться. И он прилип к решетке, брызгал слюной, грязный, вонючий, растерявший былую красоту. Грозился полицией. А потом умолял. Не за себя умолял, а этого Ульне понять не могла — ни понять, ни простить.

— И долго они...

— Три года.

...женщина ушла первой, подхватила пневмонию и сгорела. Она бы умерла и раньше, если бы не Тод, который уговаривал ее жить. Заставлял есть, а Ульне садилась и смотрела.

Испытывала ли она жалость?

Отнюдь.

Должно быть, именно тогда она стала сходить с ума... или, напротив, вернулась в разум, осознав, какая бездна лежит между ней и остальными.

— Что ж, — Освальд встал, — полагаю, они заслужили.

Ни страха.

Ни отвращения.

Тедди хорошо его выдрессировал.

— Это все, что вы хотели мне показать, матушка?

— Пока... пожалуй. Я подумала, что мы можем устроить прием... представить тебя обществу.

...тем ошметкам былой славы, которые удалось сохранить. Что ж, Ульне будет интересно взглянуть на людей, в которых ее отец видел надежду рода человеческого. А они откликнутся на зов.

Любопытны.

И жадны.

Стервятники, готовые распростереть крылья над умирающей тушей Шеффолк-холла. Пускай... Ульне найдется чем удивить их.

Освальд слушал.

Почтительный... все-таки ей повезло с сыном.

— И думаю, что тебе пришла пора жениться, мальчик мой. — Она оперлась на его руку. — И еще, не устраивай больше встреч в лиловой гостиной... там сквозит.

— Да, матушка.

Предстоял путь наверх — сто сорок три ступени, преодолеть которые будет непросто.

Годы все-таки не пощадили ее.

Они никого не щадят, и даже Шеффолк-холл постарел, однако Ульне еще увидит его возрождение. Если ее мальчик все сделает правильно...

ГЛАВА 5

«Янтарная леди» пробиралась сквозь снегопад. Мерно гудел мотор, и винты разрубали разреженный горный воздух. Внизу проплывала черно-белая, углем по полотну рисованная земля.

Покачивалась палуба и клетка с канарейками, которые, нахохлившись, дремали. И немногочисленные пассажиры, которым хватило смелости совершить полет, уже названный историческим, с немалой завистью поглядывали на канареек.

Людам спать мешал страх.

И давешний репортер, прижимая к носу надушенный платок, то и дело всхлипывал. Но его хотя бы перестало мутить. Его коллега, пристроившийся у медных патрубков паровой печи, обмахивался газетой, грузная его фигура, упакованная в плотный твид, гляделась нелепо, неестественно, но человек не желал расставаться ни с пальто, ни с двубортным полосатым пиджаком. Он прел, потел, лицо его налилось нездоровой краснотой, что вызывало крайнее неудовольствие корабельного доктора. И тот время от времени приближался, что-то говорил шепотом, качал головой и отступал, оставляя человека наедине с его страхом. На втором часу полета репортер все-таки сдался и снял фетровый котелок. Короткие влажные волосы на макушке тотчас встали дыбом...

— Забавные они, — шепотом произнесла Лэрдис, прикрывая рот ладошкой.

И Брокк подавил раздражение.

Как она сюда попала?

Билеты на «Янтарную леди» в продажу не поступали. Список пассажиров был согласован еще месяц тому, и Лэрдис в их число не входила. Но первой, кого Брокк увидел, выбравшись из машинного отделения, была она.

— Как я могла пропустить подобное? — Лэрдис лукаво улыбнулась. — Ты же знаешь, как меня влечет все новое... интересное.

Палевое, узкого кроя платье, двубортный редингот из лакированной кожи и крохотная, кожаная же шляпка с высокой тульей.

Просто.

Изящно.

И алмазный аграф на шляпке лишь подчеркивает эту простоту.

Брокк сделал глубокий вдох, с трудом подавив вспышку ярости.

До чего некстати.

...вылет на рассвете и ночная проверка. Девятая кряду... или десятая уже? Которая ночь без сна, но полет должен пройти идеально, вот только в пятом отсеке давление упало.

...поиск утечки.

...экстренная перекалибровка грузов, размещенных отчего-то не по исходному плану.

...подъем и вновь давление. Встречный ветер. И неблагоприятные погодные сводки, из-за которых он едва не отменил полет. Лучше бы отменил...

От Лэрдис пахло лавандой и еще воском. Им натирали редингот, придавая ему подобающий случаю блеск. И эти запахи к концу перегона наверняка пропитают его одежду.

Проклятье.

— Дорогой, — Лэрдис сняла шляпку, и локоны рассыпались по плечам, — ты же знаешь, до чего я не люблю отступать...

— Это может быть небезопасно.

— Неужели? Ты поэтому оставил свою маленькую жену дома? — Лэрдис коснулась его губ мизинцем, и Брокк попятился. — Но что ни делается, все к лучшему, правда? Иначе получилось бы крайне неловко... ты не находишь?

А ведь Кэри хотела полететь.

Спрашивала.

И по-детски обиделась, когда Брокк запретил. Если безопасно для него, то и для Кэри тоже. Нет, она останется в Долине, если ему так хочется, но... это глупо. Разве он сам не понимает?

Понимает.

И теперь куда лучше, чем прежде.

Полдюжины репортеров, пара великосветских сплетников, с явным интересом разглядывавших Лэрдис, мрачный финансист, вложивший в проект несколько сотен тысяч фунтов и ныне желавший воочию увидеть, что вложение имеет все перспективы окупиться, дагеротиписты, оптографисты, кранц-шифровальщик, инженеры и Инголф в темной альмавиве¹. Занял самое дальнее кресло, ногу на ногу забросил и с видом отрешенным, мечтательным разглядывает собственные ногти.

Команда.

Троица стюардов в кипенно-белых сюртуках.

¹ Альмавива — широкий мужской плащ без рукавов.

Капитан, который вышел лично поприветствовать первых пассажиров «Янтарной леди»...

...Лэрдис, положившая руку на локоть Брокка. О да, об этом полете напишут. И лучше не думать о том, что именно.

— Добрый день, господа, — капитан снял фуражку и пригладил короткие рыжеватые волосы, — премного рад приветствовать вас...

Отрепетированная речь, нарочито бодрый голос. Притворное внимание, за которым люди прячут беспокойство. Кто-то трогает обивку сидений, кто-то косится на иллюминатор, гадая, и вправду ли так надежна конструкция. Кому-то снова становится дурно.

— Мне кажется или ты не рад меня видеть? — Лэрдис коснулась щеки. — Ты забавный, когда хмуришься.

— Прекрати...

...Кэри огорчится. Узнает. Из газет, желтые страницы — то, что нужно для осенних сплетен. Поверит? Промолчит. Притворится равнодушной.

И отступит.

— Почему?

— Лэрдис, — Брокк стряхнул ее руку и, перехватив запястье, сдвинул, — у нас, кажется, однажды состоялся разговор, где ты просила оставить тебя в покое. И я исполнил твою просьбу.

Мягкая улыбка, извиняющая. Наклон головы, и пальцы на щеке, теплые, мягкие.

— Вот ты и сердисься... а говорил, что любишь. Клялся... куда же эта любовь подевалась?

Издохла в муках, в привкусе коньяка, в котором не желала тонуть, в растертых докрасна полуслепых глазах, в меловом крошеве — он пытался выплеснуть гнев на камне, и стены дрожали.

В крови и живом железе, пятна которого оставались на столешнице.

— Вы все клянетесь в вечной любви. — Лэрдис отступила, но руку не убрала, пальцы соскользнули, коснулись губ, словно умоляя молчать.

Красивый жест.

И женщина красива. Вот только ныне эта красота не вызывала у Брокка ничего, кроме раздражения.

— Но проходит месяц... или год... или два, и что? Любовь исчезла.

Она вздохнула.

— Скажи, что бы стало с нами, если бы я тогда согласилась?

— Мы бы жили долго и счастливо. В мире и согласии. — Брокк повернулся к ней спиной. — Возможно, умерли бы в один день.

— Насмехаешься?

Он не стал отвечать, да и «Янтарная леди», точно ощущая настроение создателя, мелко задрожала. Один за другим раскрылись клапаны, выпуская белые клубы пара. Протяжный гудок заставил людей замолчать. А в работу включились двигатели. Глухо заворчал первый, и спустя мгновение, заставив корпус гондолы содрогнуться, заработал спаренный основной.

— Боже, спаси и помилуй, — тихо произнес кто-то.

Винты медленно проворачивались, с каждым оборотом ускоряясь. И едва ощутимый запах керосина проник в кают-компанию. Черные же полотна иллюминаторов заволокло паром. Капли воды, остывая, превращались в наледь, и Брокк с неудовольствием подумал, что подобная наледь, вероятно, затянет и купол корабля.

На капитанском мостике царило умиротворяющее спокойствие. «Янтарная леди» медленно поднималась, пробираясь под пушистым покровом облаков. Пара мощных фонарей разрезала предрассветную черноту, и где-то внизу, между землей и небом, плавился желтый шар солнца...

Кэри понравилось бы...

...она за этот год обжилась в мастерской, присвоив себе маленький, обтянутый зеленой гобеленовой тканью диванчик. Сбросив туфли, Кэри забиралась на него с ногами, расправляла юбки домашнего платья и открывала книгу... или тетрадь... или укладывала на колени доску, а на доску — кипу эскизов, которые срочно нужно было привести в порядок.

На столике стояли перья и высокая чернильница-непроливайка, десяток губок и эбонитовая палочка, которой Кэри не столько правила чертежи, сколько чесала шею. А порой, засунув в волосы, забывала и принималась искать.

Она умела молчать.

И слушать.

Говорить, как-то остро ощущая момент, когда Брокка начинала тяготить тишина. Она приносила молоко в высоком кувшине и шоколадные пирожные, которые ела руками, а потом долго собирала крошки с платья.

Ворчала.

И порой, устав, дремала на том же диванчике. Она забиралась по лесенке к узким окнам и, опершись локтями на подоконник, слушала дождь. Дышала на стекло.

Рисовала.

Спускалась и ледяными ладонями накрывала уши Брокка, требуя немедленно согреть их. А он смотрел в ее глаза и... отступал.

Раз за разом.

Янтарная девочка, легкая, медово-дымная и беспокойная слегка. Со вкусом коньяка и снега, безумное сочетание, от которого он мог бы потерять голову.

Мог бы... если бы хватило смелости.

А ведь почти решился... еще бы день... или два... добраться до города, доказав, что «Янтарная леди» безопасна. Вернуться. На цыпочках, крадучись войти в ее комнату и глаза закрыть, наклониться к уху и шепотом спросить:

— Угадай кто?

И не оставив время для раздумий, обнять, коснувшись губами мягких волос, на руки подхватить, закружить, чтобы без хмеля и пьяным, безумным слегка.

Не получится.

Будет обида и отстраненная вежливость, которая почти как лед. Оправдываться? Брокк не умеет. Рассказать как есть? А он не знает, как оно есть, и стоит, глядя на небо, которое всюду полыхает алым, словно там, внизу, разом раскрылись подземные жилы, плеснув на землю лавы.

Нехорошая мысль. Брокк не верит в предсказания, да и не было их, пророчеств, которые должны непременно исполниться, взяв свою плату жизнями.

Год тишины. И преддверие прилива.

Расчеты, чужие, пересмотренные сотни раз. И собственные. Сухой язык цифр, и поле вероятности, запертое в треугольнике центра. Три вершины.

Три бомбы.

Синхронизированный разнонаправленный взрыв. Резонанс. И зов умирающего пламени, на которое откликнется жила... синхронизированный.

Разнонаправленный.

Идеальный.

— Так и знал, что найду вас здесь. — Инголф вошел на мостик и огляделся. — Впечатляет.

Дерево. Бронза.

Стекло.

Красное небо, в котором догорает солнце.

— Мы могли бы... — Инголф кивком указал на пилотов, на капитана, замершего над приборной панелью.

— Конечно.

В кают-компани Лэрдис развлекала беседой репортера, которому удалось справиться с приступом воздушной болезни. И вряд ли она делилась впечатлениями о полете.

Брокк с трудом сдержал раздражение. Почему она появилась именно сейчас? Еще бы немного... ему казалось, время есть, если не целая жизнь, то еще день... неделя... месяц... год прошел, а он... идиот.

— Любопытно, — заметил Инголф, но уточнять, что именно любопытно, не стал. — А каюты могли бы быть и попросторней. Здесь развернуться негде.

Инголф прикрыл дверь и одобрительно кивнул, когда Брокк запер ее на ключ. Каюта и вправду не отличалась размерами и роскошью. Обтянутые красным сафьяном диванчики, полки для ручной клади и откидной столик, ныне закрепленный на стене.

Запахи мастики и кожи, дерева, лака, машинного масла.

— Впрочем, не так и плохо. — Инголф провел ладонью по спинке диванчика. — Присаживайтесь, мастер... к слову, как мои двигатели?

— Хороши, но... не думаю, что это эргономично. Тот запас керосина, который мы взяли на борт...

— Утяжеляет конструкцию.

— Именно.

— Керосин обходится дешевле кристаллов.

— Кристаллы легче, и освободившийся объем багажа компенсирует разницу.

— Не скажите. — Инголф присел, поерзал и скривился, поняв, что ноги вытянуть не удастся. — Во что обойдется перезарядка? Хотя согласен, с наземными экипажами проблема решается элементарной дозаправкой, но признайте, эксперимент интересен.

— Более чем. — Брокк устроился напротив. — Вы для этого меня позвали?

— Отнюдь... хотел сказать, что получил приглашение от его величества... как и Олаф... и Риг.

— Он оправился от смерти брата?

— А были сомнения? Бросьте, мастер, эти двое на дух друг друга не переносили. Не удивлюсь, узнав, что Риг запил не от горя, а от радости. Впрочем, это ведь детали, верно?

Брокк кивнул.

Детали, которые изрядно поблекли за год. И порой Брокк начинал думать, что те ставшие уже историей события ему при-

мерещились, что на самом деле не было ни взрывов, ни бомб, ни писем, ни тайной лаборатории... ни Ригера с перерезанным горлом.

Бурого пятна на ковре.

Стола. Бумаг. И нервного Кейрена, который не верил в такое удачное совпадение...

Иногда.

И тогда Брокк позволял себе несколько дней почти нормальной жизни, той, в которой мир не стоит на грани... возвращали кошмары. Огненные цветы в небе и крылья дракона, которые начинали тлеть. А сам механический зверь, замерев в небе, вдруг терял опору. Он падал, изгибаясь, ревя, и в этом реве Брокку слышались проклятия. Он сам, обняв зверя за шею, летел в огонь.

Он просыпался за мгновение до смерти и, сев в постели, долго пытался отдышаться, отрешиться от собственного крика, пусть бы и утверждал камердинер, что Брокк не кричит, но ведь горло драло, и связки голосовые почти срывались. А культу дергало, мелко, мерзко. В какой-то момент, когда сны стали часты, ему показалось, что произойдет отторжение. Шрамы на коже набрякли, и сквозь них сочилась сукровица, марала простыни. А рука сделалась малоподвижной, тяжелой, как в первые дни после присадки. И Брокк пытался размять пальцы, таясь от жены, она же все равно умудрялась услышать его, подходила, садилась рядом, клала ладонь на переплетение нитей и спрашивала.

— Чувствуешь?

Чувствует. Сквозь немоту, раздражение и зуд. Сквозь вынесенную из снов чужую боль... и собственная немощь перестает мешать. Рядом с Кэри Брокк вновь ощущал себя цельным.

— Вы ничего не желаете рассказать, мастер? — Ингольф расстегнул пуговицы и, сняв пиджак, клетчатый, на пурпурной подкладке, пристроил его на крючок.

— Боюсь...

— Очередная тайна государственных масштабов?

— Именно.

Ингольф кивнул, точно не ожидал ничего иного.

— Что ж... пусть так. — Он отвернулся к иллюминатору и некоторое время разглядывал не то небо за стеклом, не то собственное отражение. — Им удалось раскопать «Странник».

Руки Ингольф сцепил на груди.

— Газеты о таком не напишут, но... я сам строил портал.

«Странник». И чума, запертая на борту проклятого корабля, который, оказывается, вовсе не миф.

— Куда?

Это тоже тайна, но Ингольф отчего-то готов поделиться ею.

— В город, куда еще. — Он дернул головой. — Мне довелось побывать в Вашшадо... Знаете, мне казалось, я многое повидал за этот год. Война и лагерь альвов, запечатанный храм...

Ингольф вскочил, но заставил себя сесть.

— Меня привлекали, чтобы... разобрать... разобрать... после альвов осталось многое. Кое-что требовалось уничтожить, кое-что — приглушить, демонтировать, переправить. Не самая приятная работа, но мне нравилась.

— Почему вы?

— Почему нет? Мне предложили, я согласился. Вами Король рисковать не желал, а мне требовалась идея. Сами знаете, идеи — мое слабое место. Вот и понадеялся, что у альвов найду что-то, что натолкнет на мысль.

— Не нашли?

— Увы... там меньше всего думалось об идеях. — Ингольф провел ладонями по лицу, стирая несуществующий пот. — Но даже там... Вашшадо — не такой уж небольшой город. Был. Удалось раскопать площадь. И остатки ратуши... пара храмов... в храмах мертвецы... и в домах мертвецы... всюду мертвецы. Люди... остались только кости и... их выносили на площадь, раскладывали сортируя. Мужчин в один ряд. Женщин — в другой. Дети отдельно.

Замолчав, он приложил ладонь к стеклу и поморщился.

— Ходит. Слышал, вы отказались от идеи сделать корпус цельнолитым?

— Отказался. — Брокк слышал и тяжелое натужное гудение силовых линий. «Янтарная леди» медленно расправляла крылья. Сколько еще потребуется времени, чтобы корпус стал? Месяц? Другой? — Не стоит волноваться. Опорный каркас выдержит.

— А обшивка?

— И обшивка.

Ингольф вряд ли испытывал страх, скорее знакомую уже ревность, которая заставляла искать недостатки в чужом творении. И Брокк, пользуясь ею, глядел на «Янтарную леди» свежим взглядом. Каюты и вправду невелики, но «Янтарная леди» не предназначена для многодневных перелетов, нынешний — скорее исключение. Три дня и две ночи в воздухе.

Перевал.

Воздушный мост, над которым придется пройти. Горные пики. Кряж и треклятый снегопад, не собиравшийся прекращаться. Брокк предлагал отложить перелет до весны, а лучше и во все до лета...

Пройдут.

Есть запасные баллоны со сжатым газом. И керосин в цистернах. Сдвоенный двигатель работает на четверть мощности, а Инголф утверждает, что есть запас и над верхним порогом... по сводкам передавали грозу, но «Янтарная леди» поднялась над фронтом туч.

И драконы были куда менее устойчивы.

— Хорошо... неудобно, знаете ли, думать о том, что под ногами пустота.

Под ногами Инголфа был паркет, прикрытый толстым шерстяным ковром.

— Я не скрываю, что люди мне... неприятны. Более того, опасны, но... Вашшадо. Площадь костей. Истлевшие, бурые... вы знали, что чуму пытались остановить? Вашшадо изолировали.

Корпус гондолы ощутимо вздрогнул, а рокот мотора усилился. Корабль лег на курс и приступил к разгону.

— Изоляция в то время... — Инголф вытащил из галстука булавку — белое золото и сапфир в наверху, яркий, но не настолько, чтобы цвет и форма выглядели вызывающе. — Запертые ворота. Поднятый мост и кордон из лучников. Расстреливали всех, кого видели, там находили и стрелы, и тела, уже снаружи... запоздавшая попытка. А в городе здоровые убивали больных.

Он вертел булавку в руках, и синий глаз сапфира вспыхивал.

— Целые кварталы выгорели, но заразу не остановить. И люди молились, но их Бог не пришел им на помощь. И знаете, мастер, я вдруг вспомнил лагерные рвы... их ведь копали сразу за оградой, и сами заключенные. Тела стаскивали, присыпали землей, а потом новый слой... слой за слоем. Тогда мне казалось, что я стал свидетелем чужого безумия.

Протяжный гудок, нарочито-бодрый, неуместный, и булавка падает, катится под диванчик, к неудовольствию Инголфа. Он скалится, а шея покрывается знакомой рябью.

— И видя лагеря, я понимал, что мы были правы в той войне.

— Неужели?

— А вы сомневаетесь, мастер? — Инголф опустил на колени и сунул руку под диванчик, пытаясь нащупать булавку. — Вас до сих пор совесть мучит? Поверьте, если бы вы видели...

— Видел.

Об этом Брокку вспоминать не хотелось.

...лагерь Айорнэ, «Белый луч». Узкие строения за решеткой. Полоса вскопанной земли. Проржавевшие клубы колючей проволоки, которую никто не удосужился убрать. Ветер гонит шары суховея, словно клочья волос. И волосы же, сложенные в последнем бараке.

Список заключенных.

Личные вещи последней партии. Смотритель упорно говорил «партия» и «особь», пытаясь спрятаться за словами от себя же. У него получалось, и Брокк, глядя на невысокого, но кряжистого человека — чистокровного человека и гордящегося чистой крови, — завидовал этому его умению.

— Ах да... ваша матушка... прошу прощения, если вызвал неприятные воспоминания.

...мертвые лозы горели ярко, и над костром плясали искры. Время от времени с хлопком взрывались семянки, и в воздухе разливался нежный аромат ванили. От него к горлу подкатывала тошнота. Ванилью же пропахли рвы. Их вскрыли... Брокк не знал зачем.

Перезахоронить?

Завалить землей, предотвращая эпидемию?

Структурировать, как предлагал смотритель, искренне удивлявшийся всеобщему молчанию. Ненависти. За что ненавидеть? Он лишь исполнял приказ...

Длинные канавы с земляными гребнями, влажными, потому как осень и дождь. Запах земли и гнили. Тела... и где-то среди них — мама.

Безумие.

Фляга с коньяком, которую силой вкладывают в руки. Заставляют пить, и Брокк пьет, легко, как воду, и, как от воды, не пьянеет. Кошмары его и вправду отступили...

— Если вы видели, то поймете меня. — Ингольф запустил руки в волосы, разрушая идеальную укладку. — Подобное не должно повториться. Не мы. Не от нас...

— Когда «Странник» перебросили?

Наверняка демонтировав. Наверняка порталом. Наверняка в защищенную зону, выйти из которой непросто.

— Два месяца тому. — Он провел сложенными щепотью пальцами по шее, задержавшись на кадыке. — Всего два месяца... или целых два месяца? Как знать... у Короля хорошие алхимики. А лаборатории... вы ведь сами устанавливали защиту?

Но теперь Брокк не был уверен, что ее будет достаточно.

— Король готовится. Он спешит. Я знаю, что этот... несуществующий проект увлек многих. Вы ведь в курсе, как это бывает? Видишь перед собой конкретную задачу и пытаешься решить ее, а последствия... ведь задача решена умозрительно. И вряд ли найдется кто-то, кто посмеет перейти от теории к практике.

— Намекаете на мои эксперименты? — Брокк слушал гул моторов и скрип корпуса, который был почти музыкой.

— Намекаю? По-моему, ясно указываю, — насмешка и прежнее хладнокровие. — Поверьте, мастер, новое оружие будет куда опаснее огня... хотя бы в силу своей избирательности.

— Король...

— Не применит его, пока будет возможность отступить. Вот только...

...взрывы.

Прилив. Подошедшая к поверхности жила, раздувшаяся от пламени, готовая прорваться сама по себе... Город, замерший над огненной чашей. Случись прорыв, успеет ли Стальной Король выпустить чуму?

— Это война, которой нет, — очень тихо добавил Ингольф.

Молчание длилось долго, показалось, — вечность. И Брокк нарушил его первым.

— Бомбы не должны взорваться. Не во время прилива.

— Значит, вы тоже не верите, что Ригер был виновен?

— Был, — в этом у Брокка сомнений не оставалось. — Но не только он.

— Остаются двое. Смею полагать, меня вы из числа подозреваемых исключили? Впрочем, не отвечайте, но... сколько?

— Как минимум три. И нет, я вас не исключил.

— Тогда откуда такое доверие?

— Никакого доверия. — Он выдержал прямой взгляд Ингольфа. — Вы чересчур много знаете.

— Связи...

Древний род, чьи корни давно переплелись с королевскими.

— Что ж, с моей стороны было бы неосмотрительно не воспользоваться вашим знанием... или вашими связями.

— Помилуйте, мастер, — к Инголфу возвращалась прежняя невозмутимость, — вам и самому грех жаловаться. Король вам доверяет.

— Не настолько, чтобы поделиться своими планами.

— Боюсь, настолько он не доверяет никому. А вы слишком... как бы помягче выразиться, чистоплюй.

— В отличие от вас?